

Р. Иванов-Разумник

Писательские судьбы



ImWerdenVerlag
München 2005

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	3
ДВЕ ЖИЗНИ СУЛТАНА МАХМУДА.....	4
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ СЕБЕ	6
ФЕДОР СОЛОГУБ	10
I. ПОГИБШИЕ	16
II. ЗАДУШЕННЫЕ	20
III. ПРИСПОСОБИВШИЕСЯ.....	23
НИКОЛАЙ КЛЮЕВ	26
ЛАКЕЙСТВО.....	29
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ.....	33
«ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» И «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ»	35
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	
I. ПОЭЗИЯ.....	37
II. ПРОЗА.....	39

РАЗУМНИК ВАСИЛЬЕВИЧ ИВАНОВ

— литературное имя: Р. Иванов-Разумник (1878-1946).

Его основная работа — «История русской общественной мысли», в двух томах, 1907 г. Автор следующих работ: «Что такое махаевщина?», ПБ 1908; «Лев Толстой», 1912; «Две России», ПБ, 1918; «Что такое интеллигенция?», Берлин, 1920; «Книга о Белинском», ПБ, 1923; «Русская литература от 70-х годов до наших дней», Берлин, 1923. Был редактором ряда собраний сочинений и воспоминаний (литературно-биографические сопроводительные статьи и комментарии) — Собрание сочинений В. Г. Белинского (ПБ 1911), Собрание сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина (М. 1926-27), Воспоминания И. Панаева (Ленинград, 1928), Воспоминания Аполлона Григорьева (М. 1930), М. Е. Салтыков-Щедрин (1930).

В 1917 году Р. Иванов-Разумник был одним из редакторов «Дела народа», ежедневной газеты, центрального органа партии с.-р. Осенью 1917 г. Перешел к левым с.-р.-ам, работал в литературных органах партии левых эсеров и в их издательстве «Скифы» (сначала существовавшем в Петербурге, затем в Берлине). В период 1921-1941 гг. многократно советскими властями был арестован, сидел по разным тюрьмам, был в ссылке. Период «ежовщины» (1937-1938гг.) провел в московских тюрьмах, где через его камеры прошло свыше 1000 человек.

В августе 1941 г. был освобожден и смог вернуться к себе в г. Пушкин (б. Царское Село) — до занятия этого города немцами в октябре 1941 года. Был вывезен весной 1942 г. в Германию и вместе с женой помещен за колючую проволоку в лагере г. Кониц (Пруссия), где они пробыли до лета 1943 г.

Летом 1943 г. им удалось выбраться в Прибалтику и поселиться там у родственников. Весной 1944 г. вернулись в Кониц, жили на частной квартире. В марте 1946 г. скончалась жена Р. Иванова-Разумника, а 9 июня 1946 г. скончался и Р. Иванов-Разумник в Мюнхене, где он поселился у своих родственников. За годы пребывания в Германии Р. Иванов-Разумник много писал, торопясь записать все пережитое и задуманное, но большая часть написанного при трагических обстоятельствах того времени погибла. Несколько очерков литературно-исторического характера было напечатано в берлинской русской газете того времени «Новое Слово» (ред. В. Деспотули), с добавлениями и искажениями редактора. Они должны были составить отдельную книгу «Писательские судьбы», которая была подготовлена Р. Ивановым-Разумником к печати — она ныне и публикуется со специально написанной для нее Р. Ивановым-Разумником вводной статьей — «Вместо предисловия» и поправками самого Р. Иванова-Разумника. Кроме того им были написаны «Холодные наблюдения и горестные заметы» (о большевистских и немецких зверствах — эта работа была закончена и уже набиралась в типографии, когда в нее попала бомба — набор и рукопись сторели), «Письма без адресатов» — большая книга, собрание статей на разные темы — судьба этой рукописи до сих пор не выяснена. Сохранились и вывезены в Америку две рукописи: «Тюрьмы и ссылки» (около 500 страниц пишущей машинки) и «Оправдание человека» или «Антроподицея» — построение новой религии человечества; работа культурно-философского характера. Обширные отрывки из воспоминаний «Тюрьмы и ссылки» были опубликованы в «Социалистическом Вестнике» — № 8-9, 10, 11 и 12 за 1949 г. и № 1-2 за 1950 год.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Время ли, стоит ли говорить о писательских «судьбах», о «фантастических историях», когда мировой историей поставлен вопрос о судьбах народов, об участи целого мира?

Какая малая волна, какая ничтожная капля в народном море — писатели; малые тысячи среди многих миллионов!

И добро бы это была русская литература той поры, когда была она «светом мира», когда писатели были «солью земли»...

Но литература минувшей четверти века в Стране Советов, поставленная под гасильник большевистского террора!

Но писатели, переставшие быть «солью земли» и задыхавшиеся в марксистских намордниках!

«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему негодная, как разве выбросить ее вон на попраение людям».

Стоит ли говорить о ней?

Стоит, ибо судьба русских писателей минувшей четверти века была трагичной — у многих, драматичной — у всех (лакеи от литературы не в счет), а драма и трагедия человечества — всегда стоят пристального внимания.

Стоит, ибо —

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.

Стоит, ибо если литература даже и не волна, а лишь ничтожная капля в народном море, то и в малой капле вод отражается солнце мировой истории.

Стоит, ибо писательские судьбы в Стране Советов, за четверть века отражают в себе судьбы целого народа.

Чтобы узнать вкус воды — достаточно нескольких капель.

Такие капли — отдельные очерки этой книги, и чем мельче отмеченные здесь бытовые черточки — тем они характернее. И не только стоит их собрать, но необходимо заняться этим именно теперь, «по свежим следам»: пройдет еще четверть века — и никто не поверит тем фантастическим историям, участниками которых были мы.

И однако, по слову поэта — «все это было, было, было»...

1942-1943
Иванов-Разумник

ДВЕ ЖИЗНИ СУЛТАНА МАХМУДА

Среди чудесных сказок «Тысячи и одной ночи» есть одна под заглавием «Две жизни султана Махмуда». Пришел к султану дервиш, предложил ему сесть в бассейн с водой и погрузить голову в воду. Чуть только сделал это султан, как очутился на каком-то острове, посредине бушующего моря, да к тому же еще (ужасная вещь для почитателей Корана!) султан Махмуд оказался превращенным в женщину! Ею овладел откуда-то взявшийся грубый мужлан, и она (султан Махмуд!) год за годом нарожала ему восемь человек детей... И так далее, и так далее, час от часу не легче, с нарастанием кошмаров этой второй жизни султана Махмуда, А когда, наконец, он поднял из воды погруженную в нее голову — оказалось, что эту вторую свою жизнь султан Махмуд прожил в течение нескольких секунд...

История султана Махмуда (с одним «маленьким» изменением...) повторилась — да только наоборот! — с нами, со мной и с моими сверстниками, ровесниками Александра Блока и Андрея Белого, вступившими в XX век — в 1901 год — как раз в год своего совершеннолетия (оно тогда считалось в 21 год). Пришел к нему дервиш — имя ему было Революция — и в 1917 году мы погрузили головы в воду... а когда, задыхаясь, вынырнули, то, оказалось, прошло не несколько секунд, а — страшно сказать! — целых двадцать пять лет, четверть века. Когда мы погрузили в воду головы, нам не было и сорока лет, каждый из нас был (по вежливому французскому выражению «un jeune homme de quarante ans») были мы молодыми людьми, а очнулись от второй жизни султана Махмуда (те, кто уцелел и очнулся) — в возрасте за шестьдесят!

Стояли мы в свое время за «углубление» политической революции до социальной; мы — это наша литературная группа, так называемые «скифы» (по имени двух сборников такого заглавия, вышедших в 1917 году) — Александр Блок, Андрей Белый, Николай Клюев, Сергей Есенин и немногие другие. Скажу о себе: еще в самом начале февральской революции я напечатал статью «Вольга и Микула» (вошла в мою книгу «Год Революции», 1918 г.) — о революции политической и социальной, — и не склонен считать ее ошибкой. Ошибка была, да только совсем в ином плане. Социальная революция висела в воздухе, доказательством чего являются и Италия 1920 года и Германия 1933 года. Ошибка была в другом. Как мог я, всю свою литературную жизнь борющийся с русским марксизмом, да еще в лице самого умного его представителя, Георгия Плеханова, — как мог я на минуту поверить в возможность хотя бы временного «пакта» с большевизмом, с его обманной «диктатурой пролетариата», с его компромиссами и всем тем, что восхищает его сторонников: «нет краше зверя сего!» Зверь сей сумел, сперва прикинувшись лисой, по одиночке проглотить всех: в январе 1918 г. — учредительное собрание и правых эсеров, в апреле анархистов, в июле — левых эсеров... Да что там эсеры! Вот и четверть века прошло, а лисий хвост и волчья пасть остаются верны себе: теперь зверь сей пытается обмануть Черчилля с Рузвельтом...

Политика — случайная для меня область, а потому перехожу к примерам из дел литературных, которые лучше всяких теорий расскажут о второй жизни султана Махмуда за эти жуткие четверть века. Начну хотя бы с красочной истории самой «Тысячи

и одной ночи, — истории как раз на тему сказки; только сказка — сказкой, а здесь пойдет быль.

Жил был человек, влюбленный в книгу; звали его Кроленко (не смешивать с знаменитым народным комиссаром Крыленко, ныне расстрелянным или вообще исчезнувшим с лица земли). Дело было в самом начале НЭП'а, о котором Ленин сказал, что она («новая экономическая политика») вводится «всерьез и надолго». Наивные люди поверили — в числе их и энергичный молодой Кроленко, основавший в эти годы издательство «Академия». Верное чутье прирожденного «книжника» подсказало ему, в какой области книге суждены успехи в эти годы усталости от успехов революции. Разгром Деникина, разгром Колчака, разгром интервентов, разгром за разгромом —

А в душе истома,
И как будто тошно...

Так, вероятно, тошно было султану Махмуду рожать восьмого ребенка... «Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда!»

Книжник Кроленко чутко понял, что в эти годы НЭП'а, в годы усталости от революции, три разряда книг имеют шансы на успех, и в первую очередь — мемуарная литература (забыться бы в рассказах о прошлом!). И он начал в «роскошных изданиях» — и с громадным успехом — издавать и переиздавать мемуарную литературу XIX века.

Вторая удача его чутья: он понял, что в середине двадцатых годов, после десяти лет революции, среди «актуальнейших» пролетарских романов, вроде «Фабрики Рабле», честного, но бесконечно бездарного пролетария Михаила Чумандрин, романы которого критика (печатно!) ставила выше «Войны и мира»...

Прерываю себя на полужизне, чтобы вспомнить, как однажды потряс меня мощный образ первых же строк одного из многочисленных романов этого соперника Льва Толстого: «Наденька вышла на балкон, опираясь на тяжелые дубовые перила», — которые она, бедная, очевидно, так и таскала, очевидно, за собой по всей квартире, из комнаты в комнату, словно палку...

Так вот, чуткий издатель понял, что в эпоху таких даже грамматически беспомощных и абсолютно бездарных сюжетно и композиционно пролетарских Львов Толстых величайшим успехом среди приунывших читателей должен пользоваться такой несомненный сюжетно-композиционный гений, как Александр Дюма (отец). И издатель стал выпускать «в роскошных изданиях» и — надо отдать ему справедливость — впервые в хороших переводах роман за романом Александра Дюма. Успех превзошел все ожидания.

Наконец — третий разряд книг, которые могли рассчитывать на успех в эти годы утомления от победоносного, дубоватого и плоско-прозаического русского марксизма: запретная область СКАЗКИ. К слову сказать, отношение к ней марксизма с годами являло «ряд волшебных изменений милого лица», но это пока выпадает из моей темы. И тут молодой издатель решил, не ограничиваясь изданием отдельными томами областных и национальных сказок, с особенной роскошью выпустить в свет впервые на русском языке полную «Тысяча и одну ночь», переведенную не с французского языка, да еще с сокращениями, как это бывало раньше, а с арабского подлинника и с возможной полнотой. Перевод текста был заказан одному молодому ученому, под редакцией академика Крачковского, а «оформление» книги — стилизованная графика — предоставлено было художнику Ушину, довольно удачно справившемуся с поставленной перед ним задачей. Особенно поражала российского читателя супер-обложка, блестящая золотом, серебром и всеми лакированными красно-сине-жел-

тыми тонами радуги. Впрочем — зачем я все это рассказываю? Издание это (в восьми томах) дошло и до Европы, а в советской России представляло библиографическую редкость, котируясь у букинистов (государственных, конечно) в 1.200-1.500 рублей за все издание. Кстати сказать: собрание сочинений Александра Дюма в ужасном издании Сойкина стоило и того дороже: 2.500-3.000 рублей...

Государственное Издательство ревниво следило за успехами издания мемуарной литературы (как это раньше само не догадалось!), но мужественно перенесло эту удачу частного издательства: ведь НЭП — «всерьез и надолго», ничего с этим не поделаешь! Терпение стало истощаться, когда Александр Дюма в роскошных изданиях и с блестящим успехом продефилировал на книжном рынке. Кстати — и НЭП стала немного колебаться... Но когда появился первый том «Тысячи и одной ночи» и произвел сенсацию — терпение исчерпалось! Для чуткого издателя (не будь чутким!) началась вторая жизнь султана Махмуда.

Значит: пожалуйста в ГПУ! Этому органу власти пришлось волей-неволей арестовать издателя и убедительно объяснить ему все неприличие его поведения. Сравнительно с другими случаями — дело кончилось быстро и благополучно: издатель «просидел» сколько-то месяцев, никуда не был ни сослан, ни выслан (редкий случай!), но зато убедился в полной анти-государственности своего поведения и «добровольно» решил, что издательство его, «Академия», должно именно под этой, зарекомендовавшей себя маркой, стать неразрывной частью Государственного Издательства (что и случилось), а сам он, издатель, может отныне заниматься чем хочет — кроме, конечно, издательства...

Академия после этого существовала еще лет десять, как составная часть Государственного Издательства, а обкраденный государством издатель мог на досуге вспоминать сказку из «Тысячи и одной ночи» о двух жизнях султана Махмуда...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О САМОМ СЕБЕ

(История тоже не без фантастики)

Писать о самом себе — и трудное, и скучное дело, но так как и мне пришлось быть одной из иллюстраций к фантастической истории султана Махмуда, то, преодолевая скуку и трудность, скажу несколько слов о себе самом.

Никогда не был я членом какой бы то ни было политической партии, но всю свою литературную жизнь продолжал (а по мнению ГПУ — даже «возглавлял») то направление народничества, которое определяется именами Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского. К началу XX-го века направление это политически оформилось в партию социалистов-революционеров («эсеры»), и мне довелось «возглавлять» литературные отделы их журналов и газет («Заветы» 1912—1914 гг., «Дело Народа» 1917 г.). Когда эсеры осенью 1917-го года раскололись на «правых» и «левых», то в газете последних «Знамя Труда» и в журнале «Наш Путь» я опять-таки был редактором литературных отделов. Имя мое было, конечно, занесено на черную доску ЧК, ГПУ и прочих органов власти победоносного марксизма. Однако после убийства Мирбаха и разгрома «левых эсеров» в июле 1918-го года меня еще временно оставили в покое.

Только в феврале 1919-го года последовал первый мой арест в Царском Селе органами ЧК по обвинению в не существовавшем «заговоре левых эсеров»; через день были арестованы — по адресам в моей записной книжке — Александр Блок, Алексей Ремизов, Евгений Замятин, художник Петров-Водкин, проф. С. А. Венгеров, М. К. Лемке и многие другие столь же ни в чем неповинные писатели (к слову сказать — история

пребывания Александра Блока в недрах ЧК закреплена в книжке «Памяти Александра Блока», изданной Вольной Философской Ассоциацией в 1922 году; о том, чем была «Вольная Философская Ассоциация» — Вольфила — в эти годы еще расскажу особо). Всех их выпустили после кратковременного пребывания в стенах ЧК, а меня увезли в Москву, на «Лубянку» (центральная московская Тюрьма ЧК, ГПУ, НКВД — вплоть до нынешних дней). Фантастическая история этого путешествия и пребывания в подвалах «Лубянки» — заслуживает подробного рассказа, которому здесь не место; скажу только, что на этот раз фантастическое «дело» закончилось благополучно — и султан Махмуд вынырнул через две недели на свободу, с обещанием, что его впредь не будут «зря беспокоить»...

Обещание это органы власти держали чуть не полтора десятилетия; но возможность настоящей литературной работы была с тех пор почти совершенно отрезана. Когда в 1923-м году вышла в свет — с великими трудностями и цензурными купюрами — моя книга, посвященная творчеству Александра Блока и Андрея Белого («Вершины»), то петербургские цензурные держиморды тут же объявили издательству («Колос»), что впредь мои книги не будут разрешаться независимо от их содержания. И действительно, после этого ни одна из моих книг не была пропущена цензурой (в том же издательстве — книги «Россия и Европа», «Оправдание человека» и другие).

Правда, заниматься «литературоведением» и библиографией мне было дозволено. В 1926—1927 году я редактировал шеститомное собрание избранных сочинений Салтыкова-Щедрина и поместил в нем 30 печатных листов подробных комментариев (связанная с ними фантастическая история — тоже впереди). В 1930-м году выпустил в свет сборник «Неизданный Щедрин», и в том же году московская цензура пропустила — снова с великими трудностями — I-ый том моей монографии о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина (II-ой и III-ий тома погибли в годы моих тюрем и ссылок). Наконец, в том же году началось по моему плану издание двадцатитомного полного собрания сочинений того же Салтыкова, — как видите, мне пришлось специализироваться на одном авторе, так как свои пути были начисто отрезаны.

Впрочем — не совсем. С 1930-го года редактировал двенадцатитомное собрание сочинений Александра Блока; за три года, до весны 1933-го года, успел приготовить, а «Издательство Писателей в Ленинграде» успело выпустить первые семь томов (стихи и театр). Последние пять томов (проза) обработать не успел, так как в начале 1933-го года был арестован — и начались многолетние скитания по тюрьмам и ссылкам. К семи томам стихов и театра Блока написал до 50-ти печатных листов комментариев (основанных на изучении рукописей), но еще до моего ареста они, уже набранные, сверстаные и отчасти напечатанные, были, по приказу ГПУ, вырезаны из издания и погибли. Впрочем — тоже не совсем. Сменивший меня на посту редактора (после моего ареста) молодой «коммуноид» Владимир Орлов щедрой рукой черпал из предоставленного ему издательством корректурного экземпляра моих комментариев для последующих изданий Блока. Он оказался достаточно грамотным переписчиком.

А для меня начались годы сидений и скитаний. Рассказ о них — дело длинное и особое; здесь лишь — краткая наметка основных вех.

1933 год: с февраля восемь месяцев сидения в одиночной камере ДПЗ (Дома Предварительного Заключения), а потом ссылка на три года в Новосибирск, вскоре замененная ссылкой на такой же срок в Саратов.

1936 год: «по отбытии ссылки» — разрешение поселиться в Кашире, но отнюдь не вернуться домой, к семье, в Царское Село.

1937 год, сентябрь: арест в Кашире, перевод в Москву, в Бутырскую тюрьму, в общие камеры, где пребывал год и три четверти.

1939 год, июнь: освобождение, без новой ссылки, но и без права вернуться домой, в Царское Село. Удавалось бывать там только хитростью, прописываясь «временно».

Так прошло время до начала войны и до занятия германскими войсками Царского Села 17 сентября 1941 года.

Обвинения?

1. Был «идейно-организационным центром народничества» (обвинение 1933-го года).

2. Продолжал после ссылки «контрреволюционную деятельность» в Москве, проживая в Кашире (обвинение 1937-го года).

3. Покупал в 1921-м году берданку, подготавливая вооруженное восстание против советской власти (обвинение 1937 года).

4. На втором Съезде Советов, в апреле 1918 года, произнес антибольшевистскую речь и «был стащен за ногу с кафедры одним из возмущенных коммунистов, ныне готовым подтвердить свои слова на очной ставке» (обвинение 1938-го года).

Не привожу всех таких обвинений (десятки!), столь же серьезных, но остановлюсь еще на одном, самом замечательном, однако требующем небольшого предисловия. А пока скажу: само собой понятно, что берданки я никогда не покупал («и как это вы не понимали, что нельзя же берданкой бороться с танками!» — играя в наивность, удивлялся следовательно); на Съезде Советов вообще не был (хотя достоверный лжесвидетель и стащил меня там за ногу с кафедры; «контрреволюционная деятельность» моя в Кашире и Москве заключалась, очевидно, в комментировании большого тома (40 печатных листов) для Государственного Литературного Музея в Москве — «Письма Андрея Белого к Иванову-Разумнику 1912-1932 гг.» Но самое фантастическое обвинение — впереди; к нему, однако, и требуется небольшое предисловие.

В камере № 113 Бутырской тюрьмы, в конце 1936-го года, сидело нас не так много — всего человек 60 на 24 места; среди нас один моряк, который служил свыше года в Париже, в торговом секторе полпредства; а полпредом (т. е. послом) был тогда «товарищ Потемкин», к началу 1939-го года ставший заместителем и помощником Молотова (а может быть к тому времени уже дисквалифицированный и назначенный народным комиссаром просвещения РСФСР, не помню). Так вот, моряк этот вернулся как-то вечером с допроса в очень подавленном настроении и с явными признаками на лице весьма веских «аргументов» следователя. Впрочем, он был подавлен не самым фактом этих аргументов, а своим «добровольным» признанием в том, в чем он был столь же виновен, как я в покупке берданки. А именно: он признался, что в 1937-м году, в Париже, полпред Потемкин организовал среди членов полпредства боевую троцкистскую организацию, в которой и он, моряк, принимал участие...

Конечно, все это фантастично: фантастично то, что органы НКВД составляют лживый протокол о человеке, являющемся в это же самое время заместителем комиссара по иностранным делам; еще фантастичнее то, что такому протоколу не дается никакого хода. Он остается лежать в делах НКВД — «на всякий случай»: авось пригодится, авось можно будет арестовать и товарища Потемкина, так вот обвинение уже и готово, и достоверный лжесвидетель налицо...

«То ли еще бывало!» — в эти ежовские времена...

После этого предисловия возвращаюсь к обвинению против меня; помню, что оно было предъявлено мне в виде новогоднего подарка 31 декабря 1937-го года:

«В апреле 1936-го года, временно пребывая в Ленинграде, имел в подпольной явочной квартире свидание с академиком Е. В. Тарле, с которым вел беседу по поводу участия в ответственном министерстве после свержения советской власти».

Та же история, что и с Потемкиным. Академика Тарле я никогда в жизни не видел, ни «подпольно», ни «надпольно», даже портрета его не видал — и не знаю: с бо-

родой он или бритый, с шевелюрой или лысый... Но представьте себе, что я согласился бы показать все то, что требовал следователь: в архивах НКВД лежало бы готовое обвинение, если бы представился удобный случай изъять из обращения академика Тарле. А я по наивности подумал тогда, что почтенный академик, обвиняемый в таком преступлении, наверное уже арестован... Ничуть не бывало! Он и не подозревал, какие сети хочет сплести вокруг него НКВД, благоденствовал и продолжает благоденствовать даже до сего дня.

Повторяю: все это на грани фантастики: но ведь в Стране Советов всем известно, что девяносто девять процентов обвинений, предъявляемых ЧК, ГПУ, НКВД, Госбезом или как бы они там ни назывались — сплошная ложь, фантастика, никого из обвиняемых не удивляющая.

В заключение — существенная оговорка: да не подумает читатель, что, рассказывая обо всем пережитом, я считаю себя страдальцем, столь жестоко претерпевшим от советской власти: годы тюрем и скитаний! В том то и дело, что сравнительно с другими (миллионами!) претерпел я очень мало: не был приговорен к изолятору, не сидел в концлагерях, в ссылке был в больших городах, во время допросов никогда не подвергался никаким веским «аргументам» следователя, — многие ли могли этим похвастаться? Конечно — европейские понятия о праве совершенно иные; но ведь я рассказываю о жизни в Стране Советов, где моя судьба была еще одной из легчайших.

Чтобы закончить о себе — скажу еще о событиях самого последнего времени. За четыре десятилетия моей писательской деятельности я постепенно «обрастал» книгами; один небольшой шкаф с книгами обратился к 1941 году в одиннадцать больших шкапов с десятью тысячами томов. Одновременно с этим в течение ряда лет и десятилетий накопился очень большой литературный архив, с драгоценными рукописными материалами (Блок, Белый, Сологуб, Ремизов, Клюев, Есенин, Замятин и многие другие), десятки папок, тысячи писем, два громадных шкапа.

Осенью 1941-го года наш небольшой деревянный домик в Царском Селе, на самой окраине города — оказался в то же время и на самой линии фронта. Разрушение его началось бомбами с аэропланов в августе-сентябре и закончилось артиллерийскими снарядами зимою 1941-1942 года. Когда я посетил его в последний раз — библиотека и архив представляли собою сплошную кипу бумаги, истоптанной солдатскими сапогами на полу всех трех комнат домика; теперь от него осталось одно только воспоминание...

Ничего не поделаешь: такова, видно, моя писательская судьба...

Но — довольно о себе; интереснее (и для читателей и для меня) общий рассказ о судьбах писателей, ПОГИБШИХ за эту четверть века (расстрел, изолятор, концлагерь, самоубийство), о ЗАДУШЕННЫХ цензурой и потому замолчавших, ПРИСПОСОБИВШИХСЯ и потому процветавших. «Ему же честь — честь», как сказано в Писании...

Воспоминания эти хочу предварить небольшой «концовкой» к настоящему очерку, которая одновременно послужит и «заставкой» к очерку следующему — о Федоре Сологубе.

Сологуб до конца дней своих (он умер в декабре 1927 г.) люто ненавидел советскую власть, а большевиков не называл иначе, как «туполобые». Жил он в 1923—1924 гг. в Царском Селе, стена в стену с нашей квартирой на Колпинской улице, и ежедневно — в ответ на мой условный стук в стену — приходил к нашему послеобеденному чаю. Как то раз, летом 1924 г., он пришел мрачный, насупленный, сел за стакан чая, помолчал — и неожиданно спросил:

— Как вы думаете, долго ли еще останутся у власти туполобые?

Не имея возможности серьезно ответить на такой вопрос, я отделался шуткой:

— По историческим аналогиям, дорогой Федор Кузьмич: в России триста лет стояли у власти татары, триста лет царили Романовы, вот и большевики пришли к власти на триста лет...

Сологуб очень — и по-серьезному — рассердился:

— Какой вздор: теперь — век телеграфов, телефонов, радио, аэропланов! Время летит безмерно быстрее, чем в эпоху Романовых или татар! Триста лет! Теперь не средние века с их ползучим временем!

— Ну, хорошо, Федор Кузьмич, пусть так; сколько же времени, по вашему, большевики будут стоять у власти?

Сологуб сперва серьезно задумался, потом искорки юмора блеснули у него в глазах (он был чудесный юморист, о чем знали только немногие) и как будто нехотя, но с полной серьезностью (что было особенно пикантно) он ответил:

— Ну... лет двести!

И тут же сам расхохотался.

Я охотно подарил Сологубу сто лет: триста или двести лет — не все ли равно? И неужели нашему поколению так и остаться навсегда при второй (кошмарной!) жизни султана Махмуда? Неужели так и задохнемся мы под водой?

При подобных вопросах всегда неутешительно вспоминался мне один эпизод из истории средних веков с их «ползучим временем»; ведь у истории другие масштабы и сроки, чем у нас.

Последний крестовый поход закончился большой неожиданностью: крестоносцы, идя в Палестину через Византию, решили, что Константинополь несколько не хуже Иерусалима, а потому взяли столицу Византии и вообще овладели всей европейской частью этого государства; император Комнен вынужден был бежать в свои малоазиатские владения. Это было в 1204 году. Мой гимназический учебник истории (ведь вот запомнилось же на целые полвека!) бесстрастно и кратко продолжал и заканчивал:

...«Власть крестоносцев была непродолжительна; уже в 1264 году внук изгнанного императора в свою очередь изгнал крестоносцев из Византии»...

«Непродолжительна», — благодарю вас! Шестьдесят лет!

Триста, двести, шестьдесят лет — небольшие сроки для народа, хоть и весьма разные; для отдельного человека между ними почти нет разницы, и юмор Федора Сологуба в этом случае вполне уместен.

Но история умеет делать иногда и неожиданные подарки. Вместо шестидесяти, двухсот или трехсот лет она иной раз укладывает события огромного масштаба на протяжении какой-нибудь четверти века, — время уже соизмеримое с длительностью человеческой жизни. Так, например, от начала французской революции до Ватерлоо (ее конца) прошло ровно двадцать пять лет. И с октября 1917 г. четверть века заканчивается как раз в нынешнем 1942 году...

ФЕДОР СОЛОГУБ

Еще не светало рано утром 5 декабря 1927 г., когда мы с женой получили в Царском Селе телеграмму от О. Н. Черносвитовой (свояченицы Федора Сологуба, у которой он жил):

«Федор Кузьмич в агонии, приезжайте немедленно». Оправдывалось его предсказание о самом себе:

Смерть меня погубит в декабре,
В декабре я перестану жить...

Мы с женой сейчас же поехали на Ждановку (Петербургская сторона), где жил, а теперь умирал большой русский поэт, но застать его в живых уже не привелось: он скончался незадолго до нашего приезда и теперь лежал на своей оттоманке, под одеялом — похолодевший, бесстрастный, со спокойным, одновременно и строгим и добрым (как было и при жизни) выражением лица. Другие его строки о себе самом — не оправдались:

Перехитрив свою судьбу,
Уже и тем я был доволен,
Что весел был, когда был болен,
Что весел буду и в гробу...

Судьбы своей он не перехитрил, и в гробу не был весел, как обещал; но и многомесячные страдания (он тяжело умирал от уремии) не отпечатались на его спокойном лице.

А как ему не хотелось умирать! Это был уже не тот дерзкий Сологуб, который ненавидел «дебелую бабищу Жизнь» и воспевал хвалу Смерти-освободительнице. За несколько дней до прихода к нему этой неизбежной смерти, я был у него по литературным делам (по каким — еще скажу ниже) — и впервые в жизни увидел его плачущим и тщетно пытающимся скрыть слезы.

— Умирать надо? Гнусность! Только-только стал понимать, что такое жизнь... Разве раньше старости человек понимает это? А вот — надо уходить. Зачем? За что? Как смеют? (это безличное «Как смеют?» — очень мне запомнилось).

Чем утешить умирающего? Я попробовал сказать ему, что смерть приходит к человеку только тогда, когда сам он теряет волю к жизни, а пока воля эта есть — смерть над ним бессильна. Смерть — явление столько же духовного (вернее — душевного), сколько и физического плана... Но Сологуб не слушал.

— К лягушкам? В болото? Не хочу!

А когда я имел неосторожность (скажем уж прямо: глупость) напомнить ему о «дебелой бабище Жизни», то он до того рассердился, что я даже обрадовался: была еще у него эта воля к жизни!

Но теперь — все было уже решено и кончено. Смерть-освободительница избавила его и от физических и от душевных страданий.

День прошел в суете, в хлопотах, посетителях, а к ночи, когда гроб с телом, засыпанный цветами, уже стоял посредине комнаты, когда после вечерней панихиды разошлись многочисленные друзья, почитатели, знакомые и незнакомые, — я начал разбор оставшихся после Ф. Сологуба бумаг и проработал всю ночь напролет, вызвав на помощь одного доброго приятеля, страстного книжника и большого знатока русской поэзии XX века.

В начале 30 годов этот приятель был арестован по совершенно бессмысленному обвинению; провел несколько лет в одной из уральских тюрем, а после нее — еще несколько лет в ссылке в одном из северных городов. Когда срок ссылки в начале 1937 года закончился — он снова был арестован, и на этот раз бесследно пропал для родных и друзей, был вычеркнут из числа живых. Что с ним теперь и где он, жив ли, нет ли — не знаю; но если жив, то не рискую компрометировать его знакомством с собою, ныне вынырнувшим из воды.

Итак: мы с ним проработали всю ночь напролет. Такая спешка нужна была оттого, что Сологуб — Федор Кузьмич Тетерников — умер бездетным, вообще наследников не оставил, и каждую минуту мог явиться «фининспектор», чтобы наложить арест на выморочное имущество. Всю ночь мы разбирали и переносили бумаги, рукописи, книги с автографами, ящики, альбомы, Фотографии, пачки писем — из комнаты Сологуба в другие комнаты квартиры.

Настало утро — и я отправился в «Пушкинский дом Академии Наук». Это было как раз незадолго до его разгрома, до разгрома всей Академии, до ареста и последующей гибели в самарской ссылке академика С. Ф. Платонова, а в других ссылках — скольких других академиков и профессоров!

Но в 1927 году разгрома еще не было. Пушкинский дом осеяло еще имя честного и скромного ученого, П. Н. Сакулина, а заместителем его был милейший и обаятельнейший Б. Л. Модзалевский, один из авторитетнейших наших пушкинистов; рукописным отделом заведовал зять С. Ф. Платонова, тоже «пушкинист», но сравнительно молодой, Н. В. Измайлов.

Наконец — секретарем Академии Наук был тогда племянник семьи Римских-Корсаковых (композитора), а через них давно знакомый и мне Б. Н. Молас. Привожу все эти имена в связи с последующей их судьбой. Впрочем — Б. Л. Модзалевский счастливо избежал ее — скоропостижно скончался незадолго до разгрома Академии и Пушкинского Дома. Б. Н. Молас и Н. В. Измайлов были менее счастливы — и получили (без вины виноватые) по десять лет Соловков каждый. Измайлов впоследствии снова появился на «пушкинском» научном горизонте, а Молас, отбыв ссылку, был вторично арестован, и с начала 1937 года пропал бесследно. Все это — такие знакомые в СССР «переживания»!

Молас, Модзалевский и Измайлов в полчаса «оформили» дело, устроили все, что было нужно, и выдали мне охранную грамоту на весь архив Федора Сологуба, как подлежащий передаче а Пушкинский Дом Академии Наук. Теперь мы могли спокойно заняться разбором и описью архива, не боясь фининспектора (он явился в тот же день и пощелкал зубами), — и занялись этой работой немедленно после похорон. Она продолжалась каждый день почти три месяца — и лишь в конце февраля 1926 года мы закончили наш труд, и сдали разобранный и описанный архив Сологуба представителям Пушкинского Дома.

Архив Федора Сологуба представлял собою нечто исключительное не только по богатству материала, но и по величайшему порядку, в котором весь этот материал содержался. Стихи и рассказы были собраны и в хронологическом, и в алфавитном порядке, датированы, разложены по алфавитным ящикам; письма разобраны по фамилиям, фотографии надписаны.

Тремя годами позднее, когда мне пришлось столь же близко ознакомиться с архивом А. А. Блока, находившемся у меня на дому (при редактировании мною собрания его сочинений), я убедился, что не один Федор Кузьмич умел содержать свои бумаги и тетради в образцовом порядке, но все же пальму первенства приходилось отдать Ф. Сологубу. Через десять лет, в 1940 году, мне привелось приводить в порядок и описывать архивы живого Михаила Пришвина и покойного моего друга А. Н. Римского-Корсакова — и я тогда не раз поминал добрым словом величайшую аккуратность и систематичность Сологуба.

Тяжка судьба писателя — в расцвете сил чувствующего, что ему есть еще что сказать — и вынужденного умолкнуть и писать только «в письменный стол». Такова была и судьба Ф. Сологуба после 1917 года. Десять лет прожил он еще, писал — много (опись архива показала нам это), напечатать не мог почти ничего: он был «не-актуален»... Аргумент — поистине идиотский, ибо все великие произведения всегда «не-актуальны», они

стоят выше узких интересов своего времени. Правда, это не значит, что всякое «не-актуальное» произведение должно считаться «великим», ибо, как известно из математики, не все обратные теорема справедливы: когда идет дождь — я раскрываю зонтик, но из этого не следует, что когда я раскрою зонтик, то пойдет дождь...

Произведения последних десяти лет жизни Ф. Сологуба не были, быть может, «великими», но они были безмерно талантливее того «актуального» и сугубо бездарного, что начало заполнять собою страницы журналов и что получило название «пролетарской литературы». Ужасные стихи Уткиных, Алтаузенов, Светловых и Ко — печатались; замечательные стихи Ф. Сологуба этого же десятилетия — складывались им в письменный стол. О судьбе последних тетрадей этих стихотворений мне и хочется теперь вспомнить.

В обычную «школьную» тетрадку Ф. Сологуб почти ежедневно записывал иногда одно, иногда и несколько стихотворений. Лишь ничтожная часть их напечатана в тех сборниках, которые выходили в самом начале двадцатых годов: «Фимиамы», «Сборный Благовест» и немногие другие. А за два последние года жизни Ф. Сологуба (1925-1927) ему уже не удавалось проводить в печать ни своих сборников, ни отдельных стихотворений. Как раз к этому времени он тяжело заболел, на глазах умирал; очень хотелось хоть чем-нибудь скрасить последние месяцы его жизни. Я предложил ему — отобрать несколько десятков наиболее «подходящих» стихотворений и взялся хлопотать об их издании отдельным сборником в Государственном Издательстве, где тогда литературным фронтом командовал некий Ангерт, известный мне по делам издания комментированного мною в 1926-1927 гг. «избранного Салтыкова».

(В скобках: что этот товарищ Ангерт вытворял, как «хозяин русской литературы» в Ленинграде — говорить об этом не стоит; делал он, что левая нога его хотела. Но — года через два после описываемого времени — и на него нашла беда: был арестован, сидел в заточении, а затем был отправлен в многолетнюю ссылку на побережье Лапландии. Дальнейшая судьба его мне неизвестна, да, по правде сказать, и неинтересна).

Сологуб отказался сам производить отбор «подходящих» стихотворений и передал мне пять толстых тетрадей со стихами 1926-1927 годов, чтобы я проделал эту работу за него; сам он был уже настолько тяжело болен (дело было в октябре 1927 года), что даже и такая работа была для него непосильной. Я взял эти тетради, чтобы из нескольких сот отобрать несколько десятков последних стихотворений Ф. Сологуба (всего я отобрал их восемьдесят); они, действительно, оказались — ПОСЛЕДНИМИ. Самое последнее, замыкавшее собою пятую тетрадь, было трогательным прощанием с жизнью поэта, увидевшего приближающуюся смерть:

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным,
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым...

Давнишний любитель и ценитель стихов Сологуба, я все же был поражен великой простотой этих последних его стихотворений, экономией слов и образов, отказом от всякого бывшего «барокко». Вспомнился недавний разговор с ним в Царском Селе (он нежно любил этот городок и мечтал снова переехать туда, — «лишь только поправлюсь»): «сперва восхищаешься роскошью Растрелли, а к старости начинаешь ценить величавую простоту Камерона»... Поэт-Сологуб всегда был «прост», но теперь трудная эта простота дошла до пределов классичности — и величайшим трудом было отобрать восемьдесят стихотворений из нескольких сот: каждое хотелось взять в сборник.

К середине октября работа была завершена, стихотворения отобраны и отбор этот санкционирован Ф. Сологубом; после этого жена моя переписала весь этот сборник на пишущей машинке в трех экземплярах — один из которых я и отнес к Ангерту. Дальнейшая судьба трех экземпляров: один — конечно, погиб в Государственном Издательстве; два других, после смерти Ф. Сологуба, были поделены между О. Н. Черносвитовой и мною. Мой экземпляр погиб с моим архивом; о судьбе экземпляра О. Н. Черносвитовой — когда-нибудь узнаем.

Сперва казалось, что Государственное Издательство хочет пойти навстречу желанию друзей поэта — издать еще при его жизни последний сборник его стихотворений. Был даже намечен художник для обложки — общий наш друг и приятель, Петров-Водкин. Но потом — дело застопорилось: сборник был признан «не-актуальным», а отдельные его стихотворения — «контрреволюционными». Особенно напирал Ангерт на одно стихотворение, которое, считаю я, когда-нибудь войдет во все хрестоматии и которое здесь оглашаю я впервые:

Спорит Башня с черной Пашней:

— Пашня, хлеба мне подай!

Спорит Пашня с гордой Башней:

— Приходи и забирай!

Башня поиск высылает,

Панцирь звякает о бронь,

Острие копья сверкает,

Шею гнет дугою конь.

Пашня Башне покорилась,

Треть зерна ей отдала,

А другой — обсеменилась,

Третьей — год весь прожила.

Шли века. Упала Башня

И рассыпалась стена.

Шли века. Ликует Пашня,

Собирая семена.

— Как же вы не хотите понять, что Башня — это коммунизм, а Пашня — это крестьяне-единоличники! — возмущался Ангерт, услышав мое мнение об этом стихотворении, как о «классическом».

Так и не удалось издать книги при жизни Ф. Сологуба. Но не удалось это и после его смерти: сборник замечательных стихотворений большого поэта вот уже 15 лет лежит «готовый к печати» — и никому ненужный; нужны и печатаются «актуальные» вирши пролетарских поэтов. Более того: вот уже 15 лет находится в Пушкинском Доме архив Сологуба — а в архиве этом, как я уже сказал, сотни неопубликованных стихотворений, незаурядные рассказы, планы романов и повестей, — не говоря уже о черновиках «Мелкого беса» и других романов Сологуба. И что же? Ни одна живая душа не заинтересовалась за все эти 15 лет ознакомлением с этим исключительным архивом.

И дело тут, конечно, не в Сологубе и его «актуальности» или «не-актуальности», а в органическом понижении русской культуры. Когда князь Д. И. Шаховской открыл новые, неизвестные «Философические письма» Чаадаева (ведь это же исключительная сенсация! В былое время вся печать России трубила бы об этой находке!), то и это прошло в большевистской печати совершенно незамеченным. А то — сотни неизданных стихов Сологуба, подумаешь!

Это органическое понижение культуры и было для Сологуба (не для него одного, конечно) внутренней трагедией.

Жизнь раздвоилась, и чем дальше шло время, тем менее было надежды, что когда-нибудь удастся соединить эти раздвоенные половины. К тому же и в личной жизни случилась трагедия: жена поэта, Анастасия Николаевна Чеботаревская, покончила самоубийством. Скончался Блок; был расстрелян Гумилев, — и А. Н. Чеботаревская решила, что «судьба жертв искупительных просит», намечая к гибели трех больших русских поэтов: третьим будет Сологуб. Но его можно еще спасти, если кто-нибудь пожертвует собой за него: вот она и бросилась в ледяную воду Невы с Тучкова моста, рядом с тем домом на Ждановке, где ждал ее к вечернему чаю Сологуб.

После этого жизнь его пошла раздвоено. С одной стороны Сологуб — бессменный председатель Союза Писателей, лояльный гражданин СССР, вполне подчинившийся государственной власти — одно лицо, одна жизнь. Другая жизнь, другое лицо — ненависть к «туполобым», ожидание чуда, страстное ожидание свержения ненавистной власти.

За чайным столом любил он поговорить о «пролетарской литературе» (он много читал) — и беспощадно приговаривал ее «к небытию». Писал ядовитые эпиграммы на деятелей этой литературы. Мечтал об отъезде за границу, — но знал, что его туда не выпустят. Мечтал о том, что ему еще удастся напечатать новые рассказы, новые стихи, но в трезвые минуты сам понимал, что мечты эти — несбыточные и что печататься ему не дадут. Чтобы зарабатывать на жизнь (нельзя же было жить на восьмидесятирублевую пенсию, да и то пожалованную всего за три года до смерти) — пришлось обратиться к переводам французских романов и к редактированию других переводов. Конечно, хорошие переводы — дело полезное и почтенное; но заставить Сологуба заниматься ими, значило то же самое, как будто Менделеева засадили в гимназию преподавателем химии и физики. Хороший учитель гимназии — дело тоже почтенное, но экономно ли Менделеева делать педагогом, а Сологуба — переводчиком? Но советская власть об экономии не заботилась, ибо органическое понижение культуры входило в ее планы: поднять «пролетариат» до высшего уровня «интеллигенции» — дело долгое и трудное, проще и скорее — понизить этот уровень. В достижении этой цели большевики добились за четверть века больших успехов.

Так и умер Федор Сологуб. За последние месяцы жизни он знал что умирает и что ему уже не дождаться освобождения. Последнее его стихотворение (первую строфу которого я привел выше) говорит о том, что умирающий поэт примирился с тяжелой своей судьбой:

Подыши еще немного
Тяжким воздухом земным.
Бедный, слабый воин Бога,
Весь истаявший, как дым.
Что Творцу твои страданья?
Капля жизни в море лет!
Вот — одно воспоминанье,
Вот — и памяти уж нет.
Но как прежде — яркие зори,
И как прежде — ясен свет,
«Плещет море на просторе»
Лишь тебя на свете нет.
Подыши ж еще немного
Сладким воздухом земным,

Бедный, слабый воин Бога,
И — уйди, как легкий дым...

Это — последнее его стихотворение, такое простое и такое обреченное.

Прошло полтора десятилетия после его смерти — и Сологуб, как писатель, совершенно забыт в СССР, точно его и не было («Вот — и памяти уж нет!»); он заслонен десятками калифов на час, память о которых погибнет без шума как раз тогда, когда вновь воскреснет имя Федора Сологуба и начнет разрабатываться замечательнейший его архив, ныне мертвым грузом лежащий в Пушкинском Доме.

I. ПОГИБШИЕ

Велик синодик писателей, тем или иным путем погибших за эти тяжелые годы, — настолько велик, что дать полный перечень их в коротком очерке вряд ли возможно. Расскажу лишь о сравнительно немногих, ибо знаю далеко не о всех; так, напр., судьбы провинциальных и областных писателей, подвергшихся «ежовскому» погрому в 1937 г., мне почти неизвестны. Но и без них синодик этот достаточно велик.

Можно сказать, что синодик этот открывает собой Александр Блок (умер 7 августа 1921 года), задушенный той волной духовной контрреволюции, которую обрушили на наши головы большевики. Через полтора месяца после его смерти был расстрелян Н. Гумилев, — нельзя ведь было уступить пальму первенства великой французской революции, которая гильотинировала же поэта Андрэ Шенье!

Гумилев был первой, но не последней жертвой; афишированных расстрелов писателей больше не было, но сколь многие погибли потом «под шумок», не то расстрелянные, не то получившие «десять лет строгой изоляции без права переписки», по официальной терминологии. Вот, напр., столь много шумевший Борис Пильняк, — что с ним? В камерах Бутырской тюрьмы в Москве, в 1937-1938 гг., говорили о его расстреле «за шпионаж», — а тюрьма, вообще говоря, хорошо осведомлена о судьбах своих сидельцев.

По тем же моим «тюремным сведениям», несомненно были расстреляны в это же время такие «киты» советской литературы, как пресловутые Авербах и Михаил Кольцов. Первый из них, зять чекистского диктатора Ягоды, возглавлял собою знаменитую ВАПП (Всесоюзную Ассоциацию Пролетарских Писателей) и чувствовал себя хозяином русской литературы. Смешно было читать, как в редактируемых им литературных газетах и журналах («На Посту») торжественно сообщалось: «Генеральный секретарь ВАПП-а, тов. Авербах, вернувшийся из поездки за границу, вступил сего 5-го марта в исполнение своих обязанностей...» Смешно, но смех выходил, действительно, горький, так как этот полновластный секретарь, автор бездарных, полуграмотных критических статей, травил направо и налево кого хотел, раздавал литературные чины и ордена, требовал безусловного уничтожения всех «попутчиков», как врагов большевизма. Загадочное до сих пор самоубийство Маяковского (вот и еще один из погибших) в значительной мере объясняется этой травлей.

К слову — о Маяковском. Перед тем как застрелиться, он написал большое письмо и надписал кому-то адрес на конверте; кому — родные в отчаянии и суете не рассмотрели. Это досмотрел немедленно явившийся на место происшествия всемогущий тогда помощник Ягоды, специально приставленный «к литературным делам» Агранов — и письмо исчезло в его кармане, а значит, и в архивах ГПУ. Об этом Агранове, его «дружбе» с писателями, его характерных беседах с Андреем Белым и Замятинским надо бы при случае тоже рассказать подробно. После падения и расстрела Ягоды Аг-

ранов тоже «пал» и был расстрелян; жена его, пребывавшая в 1937-1938 гг. в женской камере Бутырской тюрьмы, покушалась на самоубийство (вскрыла себе вену в бане) и ходила потом с парализованной рукой. Сослана или расстреляна?

Гибель Есенина в 1925 г. тесно связана не только с его болезнью (смотри его предсмертную поэму «Черный человек»); ведь и самая болезнь была следствием невозможности писать и дышать в гнетущей атмосфере советского рая. Знаю об этом из разговора с Есениным за год до его смерти, когда он приехал ко мне летом 1924 г. в Царское Село, — о нем тоже надо будет рассказать подробно. Десятилетием позднее покончила с собой неосторожно вернувшаяся в советский рай Марина Цветаева, наряду с Борисом Пастернаком — самым талантливым поэтом современности...

Возвращаюсь, однако, к всеильному в начале тридцатых годов «генеральному секретарю ВАПП» Авербаху. Закат его начался в 1932 г., когда апрельским декретом, под шумок подготовленным Максимом Горьким (переехавшим из Сорренто в Москву и мечтавшим самому стать во главе русской литературы), уничтожена была ВАПП, а сам ее генеральный секретарь сослан на уральские заводы — руководителем одной из провинциальных литературных ячеек: не из грязи да в князи, а наоборот... Это было настоящее литературное землетрясение: все бывшие друзья и лакеи всеильного литературного временщика поспешили от него «отмежеваться», раскаяться, принести повинную... Еще через 3-4 года, после расстрела Ягоды, такая же участь постигла и Авербаха. Жена его, дочь известного В. Д. Бонч-Бруевича, тоже писательница, в силу больших партийных связей отца получила «только» бессрочное заключение в одном из женских специальных концлагерей.

Чтобы покончить с этими подонками литературы, надо упомянуть здесь и о пресловутом «очеркисте» Михаиле Кольцове, игравшем не менее крупную роль, чем Авербах. В самом начале периода «ежовщины», родной брат Михаила Кольцова, присяжный карикатурист «Известий» Бор. Ефимов нарисовал появившуюся в этой газете карикатуру «Ежовые рукавицы»: рукавица, утыканная шипами и гвоздями, сжимает мертвой хваткой в ужасе вопящего «контрреволюционера»... Мог ли художник предполагать, что одними из ближайших жертв этой рукавицы явятся не только он, но и только что со славой вернувшийся из Испании его могущественный брат, член редакции «Правды», Михаил Кольцов! В один прекрасный день явились в эту газету два адъютанта Ежова, вызвали М. Кольцова из редакционного заседания и увезли его с собой — в недра Лубянки, откуда он больше не возвращался. К Бор. Ефимову судьба была благоприятнее; в 1940 г. он вынырнул на страницы газет со своими карикатурами.

Хоть и не на тему — о писателях — но к слову о художниках: известна тяжкая судьба талантливого Шухаева, приехавшего в середине тридцатых годов с женою из Парижа в советский парадиз. В «ежовские времена» и его и жену, столь не во время «репатриированных», сослали в разные лагеря Сибири — конечно, по штампованному обвинению «в шпионаже»: жена и он переписывались с парижскими друзьями...

Но вот и крупный представитель подлинной литературы: князь Святополк-Мирский. Как известно, он занимал видное место в «европейской» русской литературе, был критик и историк, особенно признанный в Англии. Он прельстился увещаниями Максима Горького (много зла натворил этот человек!), его рассказами о расцвете писательской деятельности в России после падения ВАППа, «репатриировался», вернулся на родину и скромно встал там просто «Мирским» в печальные ряды советских критиков и историков литературы, вынужденных поголовно стать марксистами.

Не один раз приходилось печатно каяться бедному писателю в якобы совершенных им ошибках и проступках против «марксистской идеологии» в своих статьях; но все же при жизни его высокого покровителя, Максима Горького, его еще терпели и не трогали. Но вот умер Максим Горький, родился пресловутый Ежов — и

Святополк-Мирский был немедленно арестован: конечно, и он тоже по обвинению в «шпионаже», ибо и он тоже имел неосторожность переписываться со своими оставшимися в Европе родными и друзьями. Его сослали на Дальний Восток, в гиблое место — бухту Ногаево, где он и умер в 1939 или 1940 году (не помню). Умер — от голода, как сообщал из этого гиблого места находившийся там в ссылке (если тоже уже не умер) другой писатель, известный Юлий Оксман, — еще одна из жертв нелепого террора.

Я ручаюсь за достоверность всего здесь рассказываемого, но не всегда могу поручиться за точность сведений о конечной судьбе писателей, вошедших в этот небывалый в мире писательский синодик: расстрел или «десять лет строгой изоляции без права переписки» — как узнать сквозь туман глубочайшей тайны, каким ГПУ окутывает все такие дела? Вот, напр., гремевший во всех театрах советской России драмодел Киршон, «советский Шекспир и Мольер» (в эпитетах лакейская критика не стеснялась), друг и приятель Ягоды, заполнявший плохими комедиями театральные подмостки всех городов, зарабатывавший до миллиона рублей в год, имевший дачи на черноморском побережье — и прямо из собственной дачи попавший в 1937 г. в отдельную камеру Лубянской тюрьмы: как знать — расстрелян ли он (о чем в тюрьме уверенно сообщали), или запрятали «на 10 лет» в каменный мешок изолятора? Так или иначе, но вот и еще один писатель (каков бы он ни был), вычеркнутый из числа живых.

А если от этих низин перейти к литературным вершинам — то вот горькая судьба замечательного мыслителя, ученого, писателя о. Павла Флоренского, еще 30 лет тому назад прошумевшего книгой «Столп и утверждение истины». Мужественно отказавшийся снять с себя священнический сан, претерпевший в ряде лет гонения и ссылки — он в начале 30-х годов неожиданно был возвращен в Москву и поставлен во главе одного ученого учреждения (названия не помню), разрабатывавшего вопросы теории и практики электричества: О. Флоренский — не только писатель и философ, но и острый математик, автор ряда интереснейших книг по мета-геометрии и высшему анализу. Опять таки в «ежовские времена» он был изъят из числа живых: расстрелян? заточен? — Семья его, с которой я встретился в 1940 г. в Троицко-Сергиевске (ныне город Загорск), считала, что о. Павел погиб, но тоже не знала о путях его гибели.

А вот два-три воспоминания из тюремных встреч. В камере № 45 Бутырской тюрьмы я встретился мимолетно с довольно известным марксистским «литературоведом» А. Лежневым, — в самое густонаселенное время тюрьмы, осенью 1937 г., когда нас на 24 койки было 140 человек. Дня три мы с ним пролежали рядом, плечо к плечу, на нарах (чтобы повернуться на другой бок, надо было встать, сделать оборот стоя, и потом уже снова втиснуться между двумя лежащими соседями). Он был совершенно растерян от недоумения, как могли арестовать его, верноподданного марксиста, автора нескольких лояльнейших критических книг!.. Через три дня его перевели во внутреннюю тюрьму на Лубянку и дальнейшая его судьба мне неизвестна, но, во всяком случае, на литературном горизонте он до 1942 года больше не появлялся и находится, несомненно, где-либо в изоляторе или концлагере, хорошо еще, если в ссылке. Обвинялся он по пресловутой статье 58 пункту 10 — «контрреволюционная деятельность».

Кстати сказать, этого А. Лежнева не надо путать с известным переметчиком И. Лежневым, который за границей ходил в «сменовеховцах», потом вернулся в Москву, полевел до коммунизма, втерся в доверие власть имущих и был допущен в редакционные святилища самой «Правды»: фигура очень темная. Но не поручусь и за его нынешнюю судьбу: рука ГПУ длинна, а террор во время войны достиг «сверхежовских» размеров.

Годом позднее и в другой общей камере Бутырок, уже менее густо населенной, я провел несколько месяцев рядом с известным венгерским поэтом и романистом, печатав-

шим свои объемистые романы в московских журналах, выпускавшим их многотиражными изданиями и вообще весьма благоденствовавшим вплоть до дня ареста.

Это был Анатолий Гидаш, венгерский коммунист, женатый на дочери слишком известного Бела-Куна, что сперва было причиной всяческого процветания Гидаша, а потом и причиной его гибели, — когда в 1937 г. Бела-Кун попал в тюрьму (в Лефортово, в самую страшную по приемам допросов московскую тюрьму, где самые стойкие люди — за редкими исключениями — через неделю-другую «признавались» во всем и в чем угодно). Анатолий Гидаш был обвинен в принадлежности к троцкистской подпольной группировке и, после ряда убедительных допросов на Лубянке, не выдержал и во всем «признался». Судьба его была предрешена: многолетний изолятор или концлагерь; вряд ли — расстрел.

Признаюсь, не без некоторого удовлетворения узнал я от Гидаша, что его тесть, Бела-Кун, палач, в свое время заливший кровью весь Крым — сидит тут же, в соседней камере Бутырской тюрьмы, больной, разбитый допросами, в ожидании решения своей участи...

И еще одна тюремная встреча с писателем, хоть и не личная, а через следователя. Ферапонт Иванович Седенко (псевдоним — «П. Витязев») был неутомимым исследователем литературного наследия П. А. Лаврова, издавал его сочинения, открывал неизвестные из них, составил картотеку в 20.000 карточек, посвященную жизни и творчеству П. А. Лаврова. В 1919-1926 гг. Витязев-Седенко стоял во главе книгоиздательства «Колос», в котором издавались и мои книги; по этим издательским делам мне приходилось встречаться с ним часто.

В 1930 г. Витязев-Седенко был сослан, картотека его — работа всей жизни — разгромлена, богатый архив по Лаврову погиб. В 1937 г. он, уже вернувшийся из ссылки, был снова арестован, заключен на Лубянке, где и подвергался допросам — очевидно, с применением сильно действующих методов. Сужу об этом по тем подписанным им протоколам его допросов, которые предъявил мне следователь в качестве обвинительного материала против меня. Прочитав их, я пришел в ужас — не за себя, а за несчастного Витязева-Седенко. Протоколы — обширнейшие! — начинались примерно так: «Теперь, когда я убедился, что следственным органам НКВД все известно, — считаю дальнейшее заpiresательство бесцельным и готов дать чистосердечные показания...»

И дальше на многих листах шло признание во всех семи смертных антибольшевистских грехах, с перечислением десятка фамилий сообщников, признание в подпольной работе, в организации террористической группировки... и мало ли еще в чем, столь же фантастическом. Что это была сплошная фантастика — я вполне уверен, ибо упоминаемое в десятках мест мое имя связано было с никогда не бывшими делами. Я о изумлении прочел, что мною была налажена связь группы Витязева-Седенко с границей, что я доставал для него, Седенко, выходившие в Европе антисоветские книги, что он с имьярек таким-то и таким-то бывал у меня в Царском Селе, где мы вели контрреволюционные разговоры... (Все эти показания были даны в начале июня 1937 г., а я был арестован в конце сентября: долго же собирались арестовать меня после таких обвинений бдительные следственные органы!). Я заявил следователю, что все, касающееся в этих показаниях меня, — дикий бред (что следователь и без того прекрасно знал), но дело тут не во мне, а в Витязеве-Седенко. Это был энергичный, мужественный человек, член эсеровской боевой организации еще в 1905 году, повидавший на своем веку еще в царское время всякие виды — и тюрьмы, и ссылки, и побег, и новые аресты. Как же должны были замучить на допросах этого стойкого человека, чтобы заставить его дать такие самоубийственные «признания»! Полагаю, что после них участь его была решена, и что Витязева-Седенко можно причислить к тому сонму погибших писателей, далеко неполный синодик которых дается в этих строках.

В заключение, рассказ о судьбе трех «народных поэтов», имена которых обычно принято ставить рядом: Николай Клюев, Сергей Есенин и Петр Орешин. Судьба Есенина известна, о ней можно еще многое порассказать при случае. Петр Орешин пробовал попасть в стан приспособившихся, что удавалось ему с трудом; в двадцатых годах он кое-как еще держался, приспособливался; в середине тридцатых годов — стал жертвой очередной волны террора, попал в тюрьму, а из нее — куда-то в ссылку, в концлагерь или изолятор, дальнейшие следы его теряются. Николай Клюев, один из замечательнейших поэтов недавних лет, попал в Нарымский край, в ссылку, еще в 1933 году — и погиб в ней; умер в августе 1937 года. Но судьба его и его литературного наследия настолько горька, что я еще остановлюсь на ней впоследствии подробнее. А пока, для конца — о судьбе еще одного народного поэта, малоизвестного, но подававшего надежды — Алексея Ганина.

Алексей Ганин вступил на литературный путь в самый год революции — в сборнике «Скифы» (1917 г.) было напечатано яркое его стихотворение «Облачные кони». Потом, в самые острые годы типографской разрухи, а 1918-1919 году, он, живя в Вологде, напечатал «китайским способом» (собственноручно вырезая на досках!) в нескольких десятках экземпляров целый сборник своих стихотворений, показавших в нем силу растущего мастера. Свободолюбивый и с открытой душой человек, он не умел скрывать своих антибольшевистских настроений. Был расстрелян большевиками в Вологде в 1920 году. Таким образом, не Блок и не Гумилев открывают собою синодик писателей, а Алексей Ганин, погибший еще годом раньше их.

Довольно! Я не перечислил, вероятно, и десятой доли имен погибших за четверть века в советском раю советских писателей, но и этого более чем достаточно. Большевики могут гордиться: они далеко обогнали великую французскую революцию. Там — один крупный поэт, Андрэ Шенье; здесь — десятки расстрелянных, погибших и поныне погибающих в ссылках, концлагерях, изоляторах. А сколько погибших иными путями, — сколько задушенных цензурой, или — что еще хуже — сколько приспособившихся!

II. ЗАДУШЕННЫЕ

Духовно задушенными цензурой были все без исключения советские писатели, физически погибшими была лишь часть их: первые — «род», вторые — «вид», говоря языком естествознания. Эта часть исчисляется многими десятками людей; но уже не десятками, а сотнями надо числить писателей, изнывавших под игом цензуры — и либо замолкавших волей-неволей на долгие годы, либо приспособившихся к «веяниям времени». С волками жить — по волчьей выть, — говорил мне один из видных советских романистов; за чайным столом он высказывал одни мнения, печатно — диаметрально противоположные. Об этих приспособившихся — речь впереди, сперва же о тех немногих, которые не хотели и не могли идти в коровьем стаде приспособляющихся. Этот список будет очень невелик.

Русская литература издавна знала писателей этих трех типов. Погиб на виселице Рылеев, задушен был Чаадаев (высочайше объявлен сумасшедшим и тем самым отрезан от литературы), приспособился, в конце концов, Полевой, — если брать примеры людей одного поколения. Но не всегда можно определить — по крайней мере нам, современникам, — к какой из этих трех групп относится тот или другой писатель. Вот и пример: на фоне убогой советской философии, на фоне жалких споров «диалектиков» с «механистами» (читая их, вспоминал свои гимназические годы) — в течение целого десятилетия выделялся интересный и острый мыслитель, неогегельянец А. Ф. Лосев.

Ему удавалось печатать свои объемистые труды лишь потому, что он догадался делать это в глухой провинции, вроде Тулы, где цензура была совсем провинциально-наивной. Таким путем Лосеву удалось напечатать с десятков томов на темы философии культуры, пока предрезающие власти не спохватились и не прекратили такое безобразие: провинциальные пути были Лосеву отрезаны, о столичных и говорить нечего. Так был задушен единственный из представителей подлинной философии, ухитрившийся в течение ряда лет подавать свой голос; но вот вопрос — только ли печатно задушен, или потом физически погиб? По крайней мере, 1938 год застал Лосева в одной из московских тюрем; дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Чтобы закончить речь о представителях подлинной философии — упомяну еще о двух «религиозных философах»: профессоре С. Аскольдове (Алексееве) и А. А. Мейере. Первого сперва задушили невозможностью и преподавать и печататься, а потом погубили и ссылкой: до последних военных дней середины 1941 года он жил в Новгороде (еще очень милостивое место ссылки), — А. А. Мейер испытал, кроме литературного задушения, нечто горшее: десятилетия ссылок, начиная с изолятора Соловецкого монастыря. Скончался все же в Петербурге — в 1939 году, в больнице (от рака).

Но обращусь к «чистой литературе» — беллетристике и поэзии, и к писателям, избежавшим личной гибели, но задушенным литературно — невозможностью печататься. Эта невозможность проявлялась у разных по разному — в большей или меньшей степени: некоторым удавалось до поры до времени пробиваться сквозь цензурные теснины, а некоторых останавливали у самого входа в эти круги Дантова ада.

Примером этого может служить судьба Е. И. Замятина, о которой не буду рассказывать подробно, полагая, что «европейскому» русскому читателю судьба эта достаточно известна: последние годы своей жизни Е. И. Замятин провел в Европе, благополучно выехав из советского парадиза. Но все же напомним: когда роман Евг. Замятина «Мы» не был пропущен советской цензурой, а вскоре появился в Европе и Америке в переводах, — против Замятина началась травля, предпринятая «Литературной Газетой», к которой благородно присоединился и Союз Писателей (прямой задачей которого было бы наоборот — защита своего сочлена).

Замятин ответил выходом из Союза Писателей, после чего все его литературные приятели, друзья и знакомые попрятались от страха в кусты, — прекратили знакомство с таким опасным человеком. Цензура же сделала свои выводы: не мытьем, так катаньем прекратить литературную деятельность такого вредного писателя. Пьеса «Блоха», шедшая с большим успехом и в Петербурге и в Москве, была снята с репертуара; пьеса «Аттила», уже дошедшая до генеральной репетиции на сцене Большого драматического театра в Петербурге — была запрещена к представлению. Рассказы и повести не допускались к печати — по мотивам иной раз более, чем анекдотическим.

Помню рассказ Е. И. Замятина о том, как цензура запретила ему одну из его повестей за первую же вступительную фразу: «На углу Блинной улицы и улицы Розы Люксембург»... Цензор счел такое сопоставление названий улиц издевательством и потребовал исключения фразы; а так как она была по духу не одинока в ткани повести, то последняя и не увидела света. Не буду увеличивать числа примеров; подробно обо всем этом могла бы рассказать Л. Н. Замятина, разделявшая и «советскую» и «европейскую» судьбы своего мужа. Скажу только, что благодаря содействию Максима Горького Замятину с женой удалось в 1930 году уехать «на год» в Европу; характерное письмо Е. И. Замятина к Сталину с просьбой об этом отпуске — ходило по рукам в писательских кругах Петербурга. Так или иначе, но факт на лицо: задушили и вынудили бежать из советского рая. Хорошо еще, что позволили уехать, а не засадили в изолятор! Доживи Е. И. Замятин на родине до «ежовских» времен, до 1937 года, — вряд ли избежал бы он за старые свои грехи тюрьмы, изолятора или ссылки. К счастью для него — он не погиб, а был «только» литературно задушен...

Узнав о судьбе Евг. Замятина, о том, что его выпускают за границу, — другой затравленный цензурой писатель, М. Булгаков, обратился с такой же просьбой к лицам «на заставах команду имеющим» (по выражению Салтыкова-Щедрина). Полагаю, что и «европейскому» русскому читателю известен этот молодой и талантливый писатель (по профессии — врач, Замятин был судостроитель), известен его роман «Белая армия», его пьеса «Дни Турбиных», его ядовитые рассказы «Роковые яйца» и «Дьяволиада». Спыхватившись слишком поздно, цензура решила впредь не пропускать ни единой печатной строки этого «неуместного сатирика» (так выразился о М. Булгакове некий тип, на цензурной заставе команду имеющий).

С тех пор рассказы и повести его — запрещались (читал я в рукописи очень остроумную его повесть «Шарик»), пьесы либо не допускались на сцену, либо снимались с репертуара («Багряный Остров», «Мольер» и др.). Вообще — литературно задушили. Не выдержав такой тяжелой судьбы и имея в виду пример Замятина, выпущенного «на год» за границу, М. Булгаков обратился с такой же просьбой к вершителю судеб человеческих, мудрому Сталину. Этот положил резолюцию: за границу не пускать, цензурных шлюзов не открывать, а предложить московскому Художественному театру принять М. Булгакова в качестве литературного консультанта. Так и свершилось: вместо того, чтобы писать свое, М. Булгаков вынужден был заняться для театра обработкой «Мертвых Душ» (последняя постановка Станиславского), литературно-театральной консультацией и прочими, подобными же делами, — до самой своей смерти в 1939 году. Еще один из задушенных литературно, но избежавших физической гибели в сетях ГПУ. И на том спасибо!

Мне уже приходилось рассказывать о трагической литературной судьбе Федора Сологуба, вынужденного умолкнуть и продолжавшего писать «не в журналы, а в свой письменный стол» (по его выражению). Но у Федора Сологуба хоть «прошлое» было, — собрание сочинений в двадцати томах (в издательстве «Сирин»); но каково было молодым, начинающим писателям, желавшим творить, но не желавшим приспособляться. Характерным примером является «пролетарский поэт» В. Казин, автор тоненькой книжки стихов «Рабочий Май»; эта тоненькая книжка была поистине «томов многих тяжелей», — чувствовалось из нескольких десятков стихотворений, что перед нами подлинный лирический, милостью Божией, поэт. Но этот подлинный поэт был в то же время, к сожалению, и членом коммунистической партии, весьма строго контролирующей направление мыслей своих адептов. Писать на заказанные темы Казин не мог, не умел или не хотел, — и предпочел замолчать. В течение двух десятилетий он написал (или, по крайней мере, напечатал), кроме многообещающего «Рабочего Мая», только поэму «Любовь и лисья шуба», — не считая немногих отдельных стихотворений в журналах. А между тем он был несомненно глубже и тоньше дарованием многословного П. Васильева, тоже вынужденного замолчать, но по другой, не менее уважительной причине: был посажен в Суздальский изолятор.

Надо сказать, что добровольно замолчавших — тоже немало, но называть их имена не всегда удобно, до поры до времени.

Но вот имя, которое можно назвать: Анна Ахматова. В течение двадцати лет она — печатно — молчала; поэзия ее была «не-актуальна»... Правда, в конце двадцатых или начале тридцатых годов «Издательство Писателей в Ленинграде» получило цензурное разрешение издать в двух томах собрание стихов Анны Ахматовой — под редакцией, с комментариями и со вступительной статьей Демьяна Бедного... От этой чести Анна Ахматова категорически отказалась, предпочитая оставаться неизданной.

Кстати сказать — в середине тридцатых годов сам всемогущий до того времени Демьян Бедный оказался — ко всеобщей радости даже коммунистов — тоже «задушенным», и несколько лет нигде не мог печататься. Причиной этого была не цензура,

а особое приказание оскорбленного Сталина, в руки которого, при помощи ГПУ, попали дневники секретаря Демьяна Бедного, некоего М. Презента. История эта весьма шумела («кому горе, кому смех!») в России, вероятно дошла и до русских в Европе, а потому я и не рассказываю здесь подробно о литературно задушенном Демьяне Бедном; впрочем он получил прощение и воскрес к началу войны 1941 года.

Возвращаюсь к Анне Ахматовой: вдруг случилось невероятное, было свыше разрешено издать том избранных ее стихотворений, который и вышел в 1940 году под заглавием «Шестикнижие» и, надо думать, дошел и до «русских в Европе», почему я о нем и не распространяюсь. Не знаю, известно ли зато окончание всей этой эпопеи? Прошло всего полгода после выхода в свет этой книги, как появление ее было признано ошибкой, книга была негласно изъята из продажи и из библиотек...

Анне Ахматовой более идет быть задушенной цензурой, чем преуспевающей. К слову сказать, за эти долгие годы молчания ей удалось сделать ценный вклад в пушкиноведение, указав на истоки «Золотого Петушка» в произведениях Вашингтона Ирвинга (статья об этом Анны Ахматовой была напечатана, если не ошибаюсь, в журнале «Звезда»).

В заключение — позволю и себя включить в этот краткий список литературно задушенных писателей. Когда в 1923 году вышла в издательстве «Колос» моя книга «Вершины» — цензура предложила издательству впредь не предъявлять для цензурования книг этого автора, ибо они вообще, независимо от их содержания, пропускаться не будут. Поэтому, не могли выйти в свет, а потом и погибли мои книги — «Россия и Европа» и «Оправдание человека»; пришлось укрыться за псевдонимом, чтобы напечатать в 1925 году в издательстве «Мысль» сборник «Современная литература», вышедший под моей редакцией, но без моего имени. А под своей статьей «Взгляд и нечто» я поставил в этом сборнике подпись: «Ипполит Удушьев». Действительно — удушили.

Заканчивая этот список литературно-задушенных, повторяю: он намеренно краток, ибо о многих, оставшихся по ту сторону рубежа, говорить по разным причинам еще неудобно.

III. ПРИСПОСОБИВШИЕСЯ

О погибших в советских тюрьмах и ссылках писателях рассказывать хоть и горько, но легко: им уж ничем не повредишь. О писателях, задушенных советской цензурой говорить гораздо труднее: говори с оглядкой, чтобы не повредить людям, доселе живущим в советском раю. И уже совсем трудно говорить о легионе приспособившихся: во-первых, их так много, что не знаешь, о ком и сказать; а во-вторых, — никак нельзя передать частные разговоры с ними, в которых эти бедняги, иной раз с почтенными литературными именами, говорят искренне (но — наедине!) о своем подлинном отношении к власти предрержащей. Оправдывают они себя лишь бескрылыми поговорками; против рожна не попрешь, плетью обуха не перешибешь, с волками жить — по-волчьи выть; официально говорят они одно, в частной беседе (но наедине!) — диаметрально противоположное. Нельзя же теперь оглашать эти имена и эти разговоры, когда НКВД особенно свирепствует в поисках «инакомыслящих».

Помню ужин в 1940 году в дружеском кругу пяти-шести виднейших советских писателей, среди которых были три «орденоносца», с европейскими именами. Вино развязало языки — и даже не наедине, а в тесной компании, люди стали откровенными, — и чего только не наговорили они о себе, о властях предрержащих, о горькой необходимости либо приспособляться, либо молчать. В тюремном быту я привык к откровенности, — людям там все равно нечего терять, и они выражаются иной раз весьма круто и солоно

о лицах, на коммунистических заставах команду имеющих; но орденосцы-писатели за этим товарищеским ужином побили все рекорды в выражении своей ненависти к советскому строю. А через несколько дней я читал в «Литературной Газете» восторженный панегирик мудрому правительству за постоянные заботы о писателях, — и автором панегирика был как раз тот из орденосцев, который за товарищеским ужином красочнее других клеймил мудрое правительство.

Таких примеров — десятки и сотни, но примеры все «безыменные»: нельзя же огласить имя этого орденосца, и поныне пребывавшего под властной рукой мудрого правительства. Но есть имена, которые можно огласить без всякой опасности для «оглашенных» — и во главе этих имен стоит, конечно, имя «пролетарского графа» Алексея Толстого. Талантливый писатель (Федор Сологуб грубо, но метко говорил про него, что он «брюхом талантлив»), весьма беспомощный в области «идеологии» и вполне равнодушный ко всякого рода моральным принципам — он проделал классический путь приспособленчества: от эмиграции к «сменовеховству», от «сменовеховства» (после возвращения в Россию) — к писанию халтурных пьес, вроде «Заговора императрицы», от этой театральной халтуры — к халтуре публицистической, детски беспомощной, на столбцах «Известий». Зарабатывая ежегодно больше сотни тысяч (переиздания сочинений! пьесы! кинофильмы!), он сам откровенно признавал, что делать это он может лишь благодаря беззастенчивой халтуре! рядом с «Петром Великим» или «Хождением по мукам» — приходится писать для прославления начальства такие ужасные романы, как «Хлеб» или «Черное золото». Ничего не поделаешь — приходится приспособляться, чтобы заслужить и благоволение начальства, и сотни тысяч, и титул «пролетарского графа»... Это приспособление «графа» к «пролетариату» происходило на глазах у всех нас в Царском Селе со второй половины двадцатых годов, — и можно было бы рассказать не один красочный анекдот об эпизодах характерного процесса этого приспособленчества.

Другой пример, значительно менее яркий — история приспособленчества гревшего некогда (очень давно! — в 1906—1910 гг.) Сергея Городецкого, ныне совершенно — и по заслугам — забытого. Он, вероятно, очень хотел бы повторить путь пролетарского графа, но — переборщил: вступил членом в коммунистическую партию (чего у Алексея Толстого хватило ума не сделать), стал сотрудничать в безграмотном журнале «Безбожник» и печатать в нем во всех смыслах «безбожные» вирши. Не процвел, но приспособился вполне. Последним литературным подвигом его было перелицовывание текста оперы «Жизнь за царя» в текст оперы «Иван Сусанин». Эта юмористическая история очень шумела в последние годы в Петербурге и в Москве, — и не прославила имени Сергея Городецкого, когда-то так славно начавшего свой литературный путь (сборники стихов «Ярь» и «Перун»), для того, чтобы так бесславно закончить его к началу сороковых годов.

Лет десять тому назад очень насмешил «читавшую публику» яркий эпизод приспособленчества: в апреле 1932 года писатель Алексей Чапыгин и поэтесса Елизавета Полонская огласили в газетах заявление о своем вступлении в «РАПП» (Российскую Ассоциацию Пролетарских Писателей) как раз за неделю до того, как эта организация была уничтожена декретом правительства. Некий остроумец (фамилию знаю, но не могу огласить) сложил такую эпитафию по случаю смерти этого недоброй памяти литературного застенка:

Под камнем сим лежит РАПП божий...
Чего ж ты пятишься, прохожий?

Алексей Чапыгин и Елизавета Полонская не во время решили приспособиться, — что не мешало Алексею Чапыгину быть автором хороших романов («Разин Степан»,

«Гуляющие люди» и др.), а Елизавете Полонской — посредственной поэтессой, счет которых ведется дюжинами. Советскую власть Чапыгин ненавидел (в беседах — наедине!), и тем не менее шел же он покорно записываться в стадо приспособившихся!

Да что там Чапыгин, что там отдельные имена, когда перед глазами у всех прошел такой массовый пример приспособленчества, как пресловутый Съезд советских писателей в Москве, летом 1934 года. Десятки, сотни именитейших и безымянных писателей, начиная с Максима Горького, выступали с кафедры этого съезда — и все эти десятки и сотни, без исключения, явили собой такой махровый цвет приспособленчества, а то и лакейства перед властью, что невольно приходило на память крылатое слово Герцена о бюрократической лестнице в эпоху Николая I.

Бюрократия эта, говорил Герцен, представляла собою лестницу восходящих господ, если смотреть снизу, и лестницу нисходящих лакеев, если смотреть сверху. Такой писательской лестницей нисходящих лакеев явил себя и Съезд советских писателей (ССП — эти же буквы означают и Союз советских писателей; по грубому выражению того же Максима Горького они расшифровываются как «сукины сыны приспособляются»... Максим Горький был не лучше других, но с высоты лестницы весьма презрительно смотрел на «нисходящих лакеев»). Десятки и сотни именитых литераторов выступали с кафедры Съезда с речами о нуждах писателей, о положении русской литературы — и все эти речи в конце концов сводились к восхвалению советской власти и мудрости Сталина. Хоть бы один из этих лакеев осмелился сказать о диком произволе советской цензуры (я уже не говорю — о свободе слова: где уж требовать такого мужества от закабаленных людей!); хоть бы один осмелился критиковать безграмотность редакторов «толстых журналов», разных Гронских и Ставских; хоть бы один осмелился возвысить подлинно писательский, а не лакейский голос!

Это была жуткая картина для любящего русскую литературу и привыкшего в старые времена уважать звание русского писателя. Было, впрочем, одно утешение: несколько — очень немного! — из видных старых писателей, присутствовавших на Съезде, имели мужество... промолчать и не выступить с речами, несмотря на всяческое понуждение к этому президиума Съезда. Иногда и молчание может быть мужественным — там, где все обязаны хором возглашать осанну. Когда-то Шевченко писал про николаевскую Россию, что в ней

На всех языках вси мовчат,
Бо благоденствуют...

В советские времена молчание стало признаком не столько благоденствия, сколько неблагomyслия: молчит, значит что-то про себя таит... И промолчавши на Съезде Писателей видные два-три (не более!) представители подлинной литературы, своим молчанием только подтвердили старое латинское изречение: *cum tacent — clamant*, когда молчат — вопиют...

Погибших в советской действительности писателей были десятки и десятки, задушенных цензурой — сотни, приспособившихся — тысячи: где уж тут говорить о них поименно! А следовало бы: например, о вершине приспособленчества, Максиме Горьком, и его действительно горькой предсмертной участи (за два-три года до смерти), надо было бы рассказать подробно вещи, неизвестные «зарубежной России». Или о погибающем ныне в концлагере талантливом поэте Заболотском — надо было бы рассказать совершенно невероятную историю, связанную с историей тоже талантливого поэта Тихомирова, приспособившегося и орденоносного. Да и мало ли еще о ком следовало бы порассказать, пока не стерлись в грохоте мировой войны все эти

имена и деяния! А если говорить не об одних писателях, а вообще о деятелях культуры, то здесь и конца края не будет рассказам о погибших, о задушенных, о приспособившихся.

Все ли известно в «зарубежной России» о короле провокаторов, знаменитом ученом Рамзине, европейской известности в области теплотехники — и в то же время сопернике Азефа в области провокации? Или — о гибели Мейерхольда и его жены, артистки Зинаиды Райх? А если ограничиться сферой моих личных тюремных впечатлений, то вот несколько имен: я сидел в Бутырской тюрьме в 1937—1939 гг., в Москве — либо в одной камере, либо в соседней камере с такими тюремными сидельцами, как знаменитый «АНТ» (А. Н. Туполев), как бывший товарищ министра генерал Джунковский, как начальник всей военной авиации Дальнего Востока советский генерал Ингаунис (сотрудник известного Блюхера), как... да мало ли еще кто, вплоть до пресловутого наркомушта Крыленко! На моих глазах погиб в Бутырской тюрьме (от острой цинги и не менее острых допросов) второй в России, после Рамзина, специалист по теплотехнике, проф. Худяков. Все это мною записано и, надеюсь, когда-нибудь увидит свет.

Но, суживая тему и возвращаясь к писательским судьбам, надо бы рассказать пока о горькой гибели большого русского поэта Николая Клюева и о фантастических причинах заключения в концлагерь талантливого советского поэта Заболотского. И в малой капле вод отражается солнце — то бишь солнце сталинской конституции и радостной жизни счастливых советских россиян.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

«Три горькие доли имела судьба» — этот стих Некрасова применим не только к русской крепостной женщине, но и к русскому советскому писателю. Погибнуть физически (расстрел, тюрьма, концлагерь), быть задушенным цензурой, или — третье — приспособиться и начать плясать от марксистской печки и по коммунистической дудке — это ли не горькая доля? И все эти три доли легли на плечи одного из крупнейших поэтов XX века, «последнего поэта деревни», Николая Клюева.

Судьба его вообще была необычна. Уроженец глухих олонецких лесов (около города Вытегры), сын старого николаевского солдата и духовно одаренной крестьянки (ее жизни он посвятил потом целую поэму), воспитанный в глубинах старообрядческой культуры — Клюев с юных лет обнаружил глубокое дарование и «песенный дар».

Молва о нем разнеслась по округе — и в возрасте пятнадцати лет он стал «Давидом хлыстовского корабля», то есть присяжным слагателем духовных песен для одной из общин («корабля») секты хлыстов. Здесь, в глубине лесов, в хлыстовском «корабле», он пробыл три года и сложил за это время ряд духовных песен, которые впоследствии составили второй сборник его стихов — «Братские песни». Снискав полное доверие хлыстов, Клюев был послан ими в Баку, где был хозяином своеобразной «конспиративной квартиры», служившей явочным местом для посетителей из секты «бегунов», державших постоянную «эстафетную связь» между хлыстами олонецких и архангельских северных лесов и разными мистическими сектами жаркой Индии...

Все это похоже на сказку — и в то же время это доподлинная быль, о которой Клюев рассказывал интереснейшие вещи (далеко не всем). Место этим рассказам — в подробной его биографии; здесь же достаточно сказать, что он пробыл в Баку несколько лет, много работая над собой, много читал, пока не почувствовал, что окреп достаточно и может уже попробовать свои силы.

Он уехал в Москву, явился со своими стихами к Валерию Брюсову, при содействии которого и был издан в 1908 году первый сборник стихов Николая Клюева — «Сосен перезвон», сразу показавший, что у нас появился новый «поэт Божьею милостью». Через год-другой был напечатан второй сборник — «Братские песни», за ним последовал третий — «Лесные были», а вскоре после начала войны 1914 года и четвертый сборник — «Мирские думы». Уже эти четыре томика позволили Клюеву занять видное и своеобразное место среди таких корифеев русской поэзии того времени, как Блок, Белый, Брюсов, Сологуб, Бальмонт, Вяч. Иванов и немногие другие. Правда, своеобразная поэзия Клюева не сразу получила общее признание — и сам он так рассказывает об этом в одном из прекрасных, но малоизвестных стихотворений:

Оттого в глазах моих просинь,
Что я сын великих озер.
Точит сизую киноварь осень
На родной беломорский простор.
На закате пляшут тюлени,
Загляделся в озеро чум...
Златороги мои олени —
Табуны напевов и дум.
Потянуло душу, как гуся,
В золотой, полуденный край:
Там Микола и светлый Исусе
Приготовят пшеничный рай.
Прихожу. — Вижу: избы — горы,
На водах стальные киты...
Я запел про синие боры,
Про сосновый звон и скиты.
Мне ученые люди сказали:
«К чему такие слова!
«Укоротьте поддевку до талы
«И обузьте у ней рукава!»
Я заплакал «Братскими песнями»,
Порешили: «В рифме не смел!»
Зажурчал я ручьями полесными
И «Лесные были» пропел.
В поученье дали мне Игоря
Северянина пудренный том...
Сердце поняло: заживо выгорят
Те, кто смерти задет крылом...
Лихолетья часы железные
Возвестили войны пожар —
И «Мирские думы» болезные
Я принес отчизне, как дар;
Рассказал, как еловые куколи
Осеняли солдатскую мать.
И газетные дятлы — загукали:
«Не поэт он, а буквенный тать!
«Русь Христа променяла на Платовых,
«Рай крестьянский — мужический бред...»

Мало помалу, однако, Николай Клюев добился общего признания; больше того, — он стал оказывать влияние и на другие сильные индивидуальности. В подробной биографии Блока еще будет рассказано, какое сильное влияние оказал на него Клюев (около 1910 г.).

Подверглись этому влиянию и Сергей Есенин, и Петр Орешин, и Алексей Гарин — все «последние поэты деревни», все по-разному испытывавшие впоследствии горькую долю советских поэтов.

Не только Февральскую, но и октябрьскую революцию 1917 года Николай Клюев вместе с Сергеем Есениным, Александром Блоком и немногими другими — встретил восторженно: политическая революция должна была углубиться до социальной. Но разное бывает углубление, иной раз оно выливается в упрощение и уплотнение; в области духовной и культурной жизни это и совершили большевики в первые же годы своего господства. «Последний поэт деревни», Николай Клюев, был объявлен «кулацким поэтом» — и сразу же оказался в числе задушенных советских писателей.

Редко и с трудом удавалось ему прорывать цензурные рогатки и выпустить два-три маленьких сборника стихотворений; совсем чудом удалось получить разрешение на издание двух томов собрания стихотворений («Песнослов»). Вскоре пришлось совсем отказаться от печатания и перейти к писанию «для себя» и для немногих друзей и знакомых.

К сожалению, нельзя было уберечься от шпионства и провокации, нельзя было ручаться за «знакомых», перед которыми приходилось читать новые свои произведения. «Приходилось» — потому что это вскоре стало единственным источником жизни Николая Клюева. «Раскулаченный» в своей вышегорской деревне, он поселился в Петербурге, читал свои произведения у друзей и знакомых, которые делали среди присутствующих сборы и вручали этот гонорар за чтение задушенному цензурой поэту. Кто слышал эти чтения, тот никогда их не забудет.

Со второй половины двадцатых годов Клюев на этих собраниях чаще всего читал свою поэму «Погорельщина»; она настолько замечательна, что требует особого рассказа. Скажу только, что слухи о ней распространились очень широко — и послужили причиной гибели поэта. Впрочем, арестован он был только в 1933 году, когда уже переехал на жительство в Москву.

Эти годы — конец двадцатых и начало тридцатых — были годами расцвета творчества Николая Клюева. Кроме десятков стихотворений он в эти годы писал обширную поэму (раза в три больше «Погорельщины») — «Песнь о Великой Матери». Поэма исключительной силы и глубокого содержания; но, к сожалению, она, кажется, навсегда погибла для литературы.

Арестованный по обвинению в «кулацком уклоне» и в контрреволюции, в чтении и распространении контрреволюционной поэмы «Погорельщина», Клюев, отсидев несколько месяцев в московских тюрьмах, был приговорен к ссылке в Нарымский край. Там он жил в самых ужасных условиях (знаю об этом по его письмам), но продолжал заканчивать поэму «Песнь о Великой Матери» и писал такие стихотворения, выше которых никогда еще не поднимался. В середине 1934 года он обратился с мольбой о помощи к Максиму Горькому, который был тогда на вершине силы и славы (возглавлял Съезд советских писателей); Горький «протянул руку помощи» — и Клюева перевели в Томск, но вскоре снова арестовали и в Томске. Так, сперва задушенный цензурой, погибал в сибирской ссылке один из самых больших наших поэтов XX века.

Задушенный, погибший... Но я сказал, что он испытал и третью горькую долю, — судьбу приспособившегося. Увы! из песни слова не выкинешь. Сломленный нарымской ссылкой и томской тюрьмой, потом снова попавший в Нарым, Клюев пал духом и попробовал вписаться в стан приспособившихся.

В 1935 г. он написал большую поэму «Кремль», посвященную прославлению Сталина, Молотова, Ворошилова и прочих вождей; поэма заканчивалась воплем: «Прости, иль умереть вели!» Не знаю, дошла ли поэма «Кремль» до властителей Кремля, но это приспособленчество не помогло Клюеву: он оставался в ссылке до конца срока, до августа 1937 года.

К слову сказать: поэзия не терпит неискренности и насилия. Вымученный «Кремль», если бы он даже сохранился, не прибавил бы лавров в поэтический венок Клюева; а он мог и не сохраниться, как и все поэтическое наследие Клюева этих последних годов его жизни.

Судьба этого наследия была трагическая. Лучшую и крупнейшую свою вещь, поэму «Песнь о Великой Матери» в трех частях Клюев дописывал в ссылке. Вторую часть он прислал на хранение своему другу, Николаю Архипову, который был тогда хранителем музея Большого Петергофского дворца; не зная, как сохранить драгоценную рукопись, Архипов положил ее на одну из высоких кафельных печей в одной из зал дворца. Вскоре после этого он был арестован, а Петергофский дворец был разрушен войной 1941 года.

В моем личном архиве хранилась объемистая папка — свыше ста писем и пятидесяти стихотворений Клюева эпохи 1933—1937 годов, в том числе и список первой части «Песни о Великой Матери». Папка эта вместе со всем моим архивом погибла в Царском Селе зимой 1941—1942 года.

Но, разумеется, у самого Клюева должны были сохраниться подлинники всех этих произведений. И тут судьба оказалась немилостивой к нему и к его поэтическому наследию. Отбыв срок ссылки, он получил разрешение выехать в Москву, где должны были определить его дальнейшую участь; в августе 1937 года он выехал из Томска — как он сам писал — «с чемоданом рукописей». По дороге, в вагоне, он скончался от сердечного припадка и похоронен на одной из станций Сибирской магистрали; на какой? — друзья его не могли дознаться до все того же 1941 года; а теперь — им до того ли? Чемодан с рукописями пропал бесследно, как бесследно погибли, надо думать, и вторая и третья части «Песни о Великой Матери», и все замечательные предсмертные стихотворения Николая Клюева. Правда, у одного его близкого друга хранились списки их в Ленинграде, но кто может теперь сказать — сохранились ли они в настоящее время у него и сохранился ли он сам?

К счастью, сохранился — и, вероятно, не в одном экземпляре — список поэмы «Погорельщина», той самой поэмы, которая сыграла такую трагическую роль в писательской судьбе Николая Клюева. Случайно сохранился этот список и у меня: перечитывая поэму, вспоминаю ее в изумительном чтении самого поэта, сперва задушенного, потом погубленного, неудачно пытавшегося приспособиться, и все-таки окончательно загубленного тюрьмой и ссылкой со всеми их жуткими условиями.

ЛАКЕЙСТВО

Остроумная и ядовитая характеристика Герценом бюрократической лестницы эпохи Николая I, как лестницы восходящих господ — если смотреть снизу, — и лестницы нисходящих лакеев, — если смотреть сверху, — как нельзя более применима к советской действительности. Лакейство в ней доходило и доходит до таких пределов, которым не поверил бы Герцен, если бы ему сказали, что будет среди «русской общестственности» через сто лет после этих его пророческих слов.

И лакейство это разлилось широким потоком от горных вершин до болотных низин. Примеров не оберешься: хочу рассказать, как очевидец, об одном из них,

красочнее и ярче которого мне не приходилось встречать за всю долгую жизнь в советском раю.

О том, что Алексей Толстой талантливый беллетрист («животом талантлив», по выражению о нем Федора Сологуба) — спорить не приходится. О том, что в многочисленных произведениях его три четверти «халтуры» — сам он откровенно говорил в частных разговорах. О том, что он стоит на верхней ступени лакейства — достаточно известно по его публицистическим выступлениям, которые не делают чести ни его уму, ни его таланту. Но здесь я хочу рассказать не об его слабой, а о сильной стороне, о настоящем художественном его произведении «Петр Первый» и о том, как даже здесь, в области творчества, махровым цветом может распуститься лакейство.

Два слова о самом романе «Петр Первый» — об одном связанном с ним характерном эпизоде, который мне достоверно известен. Когда профессор и академик С. Ф. Платонов сидел в ленинградском ДПЗ («Доме Предварительного Заключение») на Шпалерной улице, «дело» его вел следователь Лазарь Коган, предложивший однажды своему «подследственному» взять в камеру первый том «Петра Первого» (С. Ф. Платонов его еще не читал) и написать о нем «в свободные минуты» отзыв «с исторической точки зрения». Недели через две С. Ф. Платонов передал своему следователю объемистую рукопись в 80 страниц — о «Петре Первом» Алексея Толстого с исторической точки зрения. В первом томе этого романа С. Ф. Платонов нашел до тысячи мелких и крупных ошибок против исторической истины.

Конечно, роман — не историческое исследование, но все же факт характерен. Знаю о нем со слов того же самого Лазаря Когана, когда через несколько лет его «подследственным» был уже не С. Ф. Платонов (к тому времени скончавшийся в ссылке в Самаре), а я. Интересно, что стало с этой рукописью С. Ф. Платонова, являвшейся собственностью Лазаря Когана, когда последнего расстреляли в «ежовские времена», в 1937 году...

Но все это — только между прочим; перехожу к самому роману Алексея Толстого, или, вернее, к его авторской переработке в пьесу которая шла и в ленинградских и в московских театрах. Впрочем, речь должна идти не о переработке, а о переработках, так как таковых было целых три — и в них автор последовательно опускался все ниже и ниже по ступенькам лакейства, тем самым восходя все выше и выше в иерархии господ. Остановлюсь только на последней сцене пьесы.

В первой редакции переработки сцена эта представляла собою смерть Петра. Царь — в агонии; за окном — буря на Неве; тонет любимый фрегат Петра «Ингерманландия». Для Петра это символ: с его смертью погибнет и все «дело Петрово». В горьком и безнадежном монологе Петр говорит о том, что нет впереди просвета, что гибнет не «Ингерманландия», а вся Россия. Умирает не герой, а слабый, отчаявшийся человек.

В этой первой редакции пьеса была поставлена МХАТ-ом II-ым, — и на генеральной репетиции (о которой расскажу ниже) выяснилось, что Петр здесь изображен «недостаточно героически», — однако пьеса была разрешена к постановке и шла в этой редакции целый год на сцене московского МХАТ-а II-го, а автор тем временем занялся переработкой этой пьесы во второй редакции, приняв к сведению сделанные свыше указания.

Во второй редакции — Петр выведен «героичнее»; сцены смерти вообще нет, а пьеса кончается казнью Монса и монологом Петра перед Екатериной на тему о том, что сильные люди — всегда одиноки (взято напрокат из ибсеновского «Доктора Штокмана»).

Но этот финал не удовлетворил ни начальство, ни тем самым автора. Пришлось заняться третьей редакцией, в которой пьеса шла потом на ленинградской сцене. В этой редакции финальная сцена — заседание Сената и речь Петра к сенаторам на тему о том,

что «дело петрово» — не пропадет: «знайте, товарищи (!), что хоть и не скоро, а придет человек, который будет по своему, по новому, но продолжать дело Петра»... До имени Сталина дело не дошло, но ведь и без того всякому имевшему уши, чтобы слышать, было понятно, на кого намекает — не Петр, а лакействующий автор.

Так лакействуют на верхних ступенях лестницы «восходящих господ». Еще характернее это же явление на нижних ступенях лестницы «нисходящих лакеев». Рассказ о генеральной репетиции первой редакции пьесы «Петр Первый» в МХАТ-е II-ом послужит этому красочным примером.

Почти до конца двадцатых годов директором этого театра и одновременно главной его артистической силой был М. А. Чехов, гениальнейший из русских актеров двух последних десятилетий. После его эмиграции за границу, во главе МХАТ-а II-го встал неплохой актер и режиссер Берсенев, но он уже не мог удержать театр на прежней «чеховской» высоте. Попыткой поднять театр явилась постановка «Петра Первого» (в первой редакции), пропущенного цензурой «Главреперткома» (Главного репертуарного комитета) с трудом, ибо опасались, что пьеса эта может быть воспринята, как «пропаганда монархизма». Поэтому актеру, игравшему Петра, предложено было режиссером «не нажимать на педаль героизма».

И несмотря на это — театр трепетал: удастся ли провести пьесу, разрешение на которую Главрепертком дал под условием, что окончательное решение (разрешение или запрещение) будет вынесено лишь после просмотра пьесы начальством на генеральной репетиции, которая должна была состояться за день до спектакля.

На дневной генеральной репетиции театр был переполнен всеми властями, на коммунистических заставах командующими: от членов Политбюро — во главе с «самим Сталиным» — в ложах, до многочисленных представителей «красной профессуры» в партере и до бесчисленных представителей ГПУ во всех щелях театра. Партер и весь театр смотрели не столько на сцену, сколько на «правительственную ложу» и на «самого Сталина», чтобы уловить, какое впечатление производит пьеса на «хозяина земли русской», и соответственно с этим надо ли ее хвалить или стереть с лица земли.

Пьеса подходила уже к концу — и все не удавалось определить настроение «хозяина»: сидел спокойно и не аплодировал. Но часа за четверть до конца, когда Петр уже агонизировал, а «Ингерманландия» тонула — произошла сенсация: Сталин встал и, не дождавшись конца пьесы, вышел из ложи. Встревоженный директор и режиссер Берсенев побежал проводить «высокого гостя» к автомобилю, чтобы узнать о судьбе спектакля.

Он имел счастье довольно долго беседовать в фойе с вершителем судеб пьесы и России, и, когда вернулся в зрительный зал, — занавес уже упал при гробовом молчании публики, решившей, что судьба «Петра Первого» уже предрешена...

Маленькое отступление: позвольте напомнить подобный же случай «в анналах русского театра». В собрании сочинений Кузьмы Пруткова, при рассказе о постановке на Александринской сцене в 1851 году водевиля «Фантазия», сообщается, что когда присутствовавший на спектакле Николай I, не дождавшись конца водевиля, «с признаками неудовольствия изволил выйти из ложи» — публика начала свистеть, шикать, выражать негодование... Во все времена и при всех режимах лакеи остаются лакеями.

Занавес упал, но публика оставалась на местах, ибо по окончании пьесы тут же, на сцене, должна была состояться «дискуссия», решающая судьбу спектакля. Через немного минут занавес снова поднялся: на сцене стоял стол для президиума и кафедры для ораторов; записалось уже до сорока человек — все больше из состава «красной профессуры».

Заранее можно было предсказать содержание речей, — в иных случаях легко быть пророком в своем отечестве. Один за другим выступали «красные профессора»,

«литературоведы-марксисты», театральные критики-коммунисты — и, стараясь перещеголять друг друга в резкости выражений, обрушивались на пьесу, требуя немедленного ее запрещения. Требовали привлечения к ответственности деятелей Главреперткома, пропустивших к постановке явно контрреволюционную пьесу; обрушивались на театр и режиссера, изобразивших Петра «героически», явно в целях пропаганды монархизма; взывали к «мудрости Сталина», который, конечно же, разглядел всю контрреволюционность спектакля и несомненно запретит распространение его в массах; нападали и на автора, требуя не только запрещения пьесы, но и конфискации самого романа «Петр Первый», — первого его тома, — и запрещения цензурой предстоящего второго тома... В таком же духе высказались в течение часа один за другим десять ораторов, причем каждый последующий старался «увеличить давление» и оставить за флагом всех предыдущих в выражении своих верноподданнических чувств и своего безмерного негодования.

На кафедре появился одиннадцатый оратор, — толстый «красный профессор» с таким же толстым желтым портфелем под мышкой. Он прислонил портфель к подножью кафедры, поднялся на нее — и едва начал речь словами: «Товарищи! в полном согласии с предыдущими ораторами, не нахожу достаточно сильных слов негодования, чтобы заклеить эту отвратительную контрреволюционную пьесу, в которой так героически подан Петр, явно в целях пропаганды монархизма...» — как его перебил директор и режиссер Берсенев, попросивший у председателя слова «с внеочередным заявлением». Получив его, Берсенев, не поднимаясь на кафедру, где оставался одиннадцатый оратор, а стоя за спиной президиума, сказал приблизительно следующее: «Товарищи! Французская народная мудрость говорит, что из столкновения мнений рождается истина, — и сегодняшней наш обмен мнениями о спектакле «Петр Первый» несомненно послужит лишним доказательством справедливости этой поговорки.

Я рад, что десять-одиннадцать первых ораторов высказались столь единогласно в своем отрицательном и резком суждении о пьесе, — рад потому, что уверен, что многие из последующих ораторов выскажутся об этой пьесе в смысле совершенно противоположном. По крайней мере мне уже известно одно из таких суждений. Час тому назад товарищ Сталин, в беседе со мной, высказал такое свое суждение о спектакле: «Прекрасная пьеса. Жаль только, что Петр выведен недостаточно героически».

Я совершенно уверен, что если не все, то по крайней мере некоторые из последующих ораторов присоединятся к этому мнению товарища Сталина, и таким образом из столкновения мнений родится истина. А теперь прошу меня извинить за то, что я прервал столь поучительный обмен мнениями своим внеочередным заявлением»...

Впечатление от этой краткой речи, которой нельзя отказать в ехидстве, было потрясающим. Сначала наступило гробовое продолжительное молчание, затем — вихрь землетрясения, буря оваций и крики: «да здравствует товарищ Сталин!» Волной этого землетрясения был начисто смыт с кафедры толстый «красный профессор» — исчез неведомо куда, забыв даже свой толстый желтый портфель у подножия кафедры. (Берсенев потом рассказывал, что портфель этот три дня лежал в конторе театра, пока за ним не явились от имени толстого «красного профессора»).

Его сменил на кафедре новый, двенадцатый оратор, очередной «красный профессор», который начал свою речь примерно так: «Товарищи! Слова бессильны передать то чувство глубочайшего возмущения, с которым я прослушал речи всех предыдущих ораторов. Как! Отрицательно относиться к замечательной прослушанной и виденной нами сегодня пьесе, о которой товарищ Сталин так верно и мудро сказал: «Прекрасная пьеса». Как! Считать героической фигуру Петра, про которую товарищ

Сталин так мудро и верно заметил, что он выведен недостаточно героически, — в чем, действительно, единственная ошибка и автора, и театра...

И так далее.

Стоит ли досказывать? Ну, конечно же, и само собой понятно, что все последующие ораторы «всецело присоединились к мудрому суждению товарища Сталина, что они клеймили негодованием контрреволюционные выступления десяти первых ораторов, что пьеса была единогласно разрешена к постановке и что автор немедленно принялся за вторую редакцию пьесы, чтобы Петр был в ней выведен более героически...

Ну разве не пророчески прав был Герцен? Какая замечательная лестница восходящих господ, — если смотреть снизу, и лестница нисходящих лакеев, — если смотреть сверху!

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В разгаре пресловутой «ежовщины», в 1938 году, в Ленинграде была арестована группа писателей по обвинению в организации «троцкистской ячейки» с террористическими целями. Арестованные, как водится, под давлением неоспоримых физических аргументов признались во всем — и были разосланы по изоляторам, концлагерям и ссылкам, смотря по тяжести обвинения и по размаху следовательского усердия. Среди осужденных был и «подававший надежды», а отчасти и выполнивший их, молодой поэт Заболотский, попавший не то в изолятор, не то в концлагерь (не знаю), «на десять лет без права переписки».

Вскоре после этого разразилась эпидемия — награждения писателей орденами. Много курьезов можно было бы рассказать об этом позорном эпизоде в истории русской литературы; достаточно было просмотреть список награжденных, чтобы убедиться, что ордена эти давались не по литературному весу награждаемых, а по соображениям политическим, ничего общего с литературой не имеющим.

Бездарные или полу-талантливые виршеплеты и беллетристы получали высший из орденов — «орден Ленина»; многие талантливые представители старой литературы были оттеснены на задворки, в задние ряды, и получили только жетончик «знак почета». Несомненно крупнейший из современных русских поэтов, уже немолодой Борис Пастернак — вообще не удостоился на этот раз никакого ордена. Кое-кто получил сравнительно «по заслугам», — если вообще может существовать литературная табель о рангах и если вообще вся эта орденосная вакханалия не была бы позором для литературы.

Среди получивших — сравнительно по заслугам — высокие ордена были между другими поэт Тихонов и беллетрист Федин. Не помню сейчас, какие ордена они получили — орден Ленина или Красного Знамени, но не в этом дело; существенно для дальнейшего лишь то, что оба эти писателя были почтены высокою государственною наградою. Кто бы мог предположить, что между осужденными за троцкизм и терроризм писателями и писателями-орденосцами существует тесная и неразрывная связь?

Пришел 1939-й год. Ежов сошел со сцены (не то в могилу, не то я сумасшедший дом), появились новые птицы со старыми песнями; предполагалось однако, что Берия, заместивший Ежова, склонен подвергнуть пересмотру осудительные приговоры двухлетней эпохи ежовщины. Но ведь приговоров этих были миллионы! На пересмотр всех этих дел потребовались бы годы и годы! Можно бы ограничиться лишь одними «вопиющими случаями»; но ведь все дела одинаково вопияли! Вот хотя бы

случай с поэтом Заболотским, — случай совершенно фантастический и тем не менее достовернейший.

К концу 1939 года или началу 1940 года стало ходить по рукам в писательских кругах Петербурга и Москвы письмо поэта Заволотского, пребывающего в концлагере или в изоляторе, к поэту Николаю Тихонову, пребывающему в орденосцах.

Каким-то путем удалось Заболотскому (быть может через одного из выходящих, отбывших срок в изоляторе или концлагере) переслать письмо Николаю Тихонову; письмо это в копии было и в моих руках. Содержание его было приблизительно следующее.

В наше место заключения — писал поэт из тюрьмы поэту на свободе — не доходят сведения из внешнего мира в виде писем или газет; но благодаря неожиданной случайности, попал к нам обрывок того номера «Известий», в котором дан перечень писателей, удостоенных высоких государственных наград. Среди ряда знакомых имен я с несказанным удивлением встретил ваше имя, товарищ Тихонов, а также имя товарища Фебина. Искренне рад за вас обоих, что вы живы, здоровы и не только находитесь на свободе, но даже удостоены награждения высокими орденами; несказанное же удивление мое связано именно с этим обстоятельством, с одной стороны, и с моей личной судьбой — с другой. Полтора года тому назад я и ряд писателей (перечислен ряд имен) были арестованы по обвинению в принадлежности к террористическому троцкистскому кружку; на допросах, под давлением убедительнейших аргументов, мы вынуждены были признать, что действительно состояли членами такого кружка, и были завербованы в него возглавляющими кружок писателями — Николаем Тихоновым в Ленинграде и Константином Фебиным в Москве.

Теперь вам понятна и моя радость за вас — вы живы и на свободе, и мое глубочайшее изумление: каким образом вы, главы террористической организации, завербованные в число ее членов и меня, получили высокую государственную награду, в то время как я, рядовой член этой организации, получил за это же не орден, а десять лет строгой изоляции? Очевидно, что тут что-то не ладно, концы не сходятся с концами, и вам, находящемуся на свободе и награжденному государственным отличием, надлежит постараться распутать этот фантастический клубок, и либо самому признать свою вину и проситься в изолятор, либо сделать все возможное, чтобы вызволить из него нас, совершенно невинно в нем сидящих...

О дальнейшем я знаю только по рассказам третьих лиц, так как после этого ни с Тихоновым, ни с Фебиным не встречался. Рассказывали, что перепуганные на смерть орденосцы, Тихонов и Фебин, составили коллективное письмо на имя Берия, приложили к нему письмо Заволотского и просили о перерасследовании дела «группы ленинградских и московских писателей-террористов», ибо из выяснившихся обстоятельств видно, что следователь вел это дело приемами, заслуживающими некоторого сомнения, если не сказать осуждения... Было якобы получено обещание о пересмотре дела, — но до середины 1941 года никаких перемен в этой области не последовало: орденосцы продолжали оставаться орденосцами (хотя якобы возглавляли собою террористическую организацию писателей-троцкистов), а тюремные и лагерные сидельцы продолжали пребывать таковыми (хотя были только мелкими сошками, якобы завербованными в преступную организацию будущими орденосцами).

Я нисколько не сомневаюсь, что если бы фантастика мировой войны не свела на нет всю мелкую фантастику советского быта, если бы теперь были мирные времена и мой рассказ дошел бы до властителей литературных русских судеб, то могло бы последовать литературное «опровержение ТАСС-а»: из глубины тюрьмы поэт Заболотский написал бы, что он никогда не сидел в тюрьме, а орденосцы Тихонов и Фебин сообщили бы, что никогда не получали никакого письма от Заволотского, и что все

рассказанное выше — сплошная фантастика. Я тоже склонен считать всю эту историю фантастической, но не потому, что ее не было, а потому, что много фантастического совершалось в застенках НКВД. Я был свидетелем и более фантастических случаев, которые, однако, были неоспоримой реальностью, так что не имею оснований не верить и рассказанному выше эпизоду.

«ПРОЛЕТАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» И «СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ»

Когда более года тому назад мне довелось из-за китайской стены Советского Союза попасть в преддверье Европы, передо мной развернулись страницы сотен томов недоступных ранее, и я жадно принялся за пополнение своего литературного образования. Благодаря помощи старого друга, щедро снабжавшего меня книгами, и содействию новоявленных друзей, усердно помогавших в этом же деле, мне удалось за этот год познакомиться с некоторой частью того, что создала «русская эмигрантская литература» за четверть века своего существования. Конечно, судить о ней в целом я еще не могу, слишком многого я еще не знаю, но кое-что уже стало ясным, а кое-что, наоборот, еще вызывает недоумение.

Недоумение вызывает прежде всего эмигрантская литературная критика своим отношением к советской художественной литературе. И не то удивительно, что некоторая часть критики считает эту литературу не существующей, ибо — что доброго из Назарета?

Гораздо удивительнее для меня то приподнятое отношение к ряду советских писателей, которое проявляется в другой части этой критики. С большим изумлением, например, прочел я в одном из журналов статью некоего критика под заглавием «Гоголь и Зощенко»; у нас, в Советском Союзе, никому на пришло бы в голову ставить такую тему, ибо маленький литературный рост Зощенко был ясен всем и каждому. Правда, дружественная автору критика пыталась раздувать значение этого писателя, но кто же обращал внимание на мнения советской критики, упавшей так низко, как никогда еще не падала критика в России! Ведь могла же она, эта критика, убеждать читателей, что романы пролетарского писателя Михаила Чумандрин превзошли собою «Войну и Мир»! Да и мало ли что критика эта провозглашала, держа нос по ветру и вынюхивая, что из литературы нравится сильным мира сего, там, в Кремле.

Отсюда раболепная канонизация Маяковского, — сперва затравленного РАПП-ом (Российская Ассоциация Пролетарских Писателей) и доведенного до самоубийства, а потом канонизированного той же самой критикой, которая его травила. Еще бы! Ведь стало известно, что «сам Сталин» считает Маяковского первым пролетарским поэтом!

Итак — с мнениями советской критики никто не считался, ибо все знали, что это критика лакейская: кого прикажут, того и похвалит, кого прикажут, того и затравит. Как-то раз «сам Молотов» изволил отрицательно отозваться о балетной музыке Шостаковича, — Боже ты мой, какая со всех сторон поднялась тут травля! Такими примерами — хоть пруд пруди; они общеизвестны и останавливаться на них не стоит. Но на одном частном случае остановиться следует.

Дан был приказ свыше: разработать понятие «пролетарская литература», подчеркнуть, что основным свойством ее является «социалистический реализм». И — пошла писать губерния! Горы бумаги изведены для этого безнадежного предприятия, ибо

никто не знает, что такое «пролетарская литература», и еще менее того — что такое «социалистический реализм».

Пролетарская литература, — это, во-первых, такая литература, авторами которой являются пролетарии; а все авторы не-пролетарии являются лишь «попутчиками». Пусть так, — но не все здесь так просто, как кажется. Вот, например, граф Алексей Толстой: он был в «попутчиках», пока не удостоился кремлевского внимания, после чего его романы стали «украшением пролетарской литературы», а сам он стал ходить под кличкой «пролетарского графа». Значит — не в происхождении тут дело, а в мировоззрении. Вот Федор Сологуб был происхождения самого пролетарского (сын сапожника и кухарки), однако вся советская критика именовала его писателем «буржуазным».

Пролетарская литература, — это, во-вторых, такая литература, которая, независимо от происхождения авторов, художественно проявляет идеалы пролетарского мировоззрения.

Если бы я знал, что такое «пролетарское мировоззрение», то готов был бы принять такое определение. Но вот, например, — величайший художественный представитель пролетарской литературы, Максим Горький: с какого конца его мещанское происхождение является пролетарским, а его индивидуалистические концепции не противоречащими «пролетарскому мировоззрению»?

На помощь этому недоумению идет требование, чтобы пролетарская литература пользовалась методом «социалистического реализма». Час от часу не легче! О том, что такое реализм — идут вековые дебаты в европейской и русской критике, а тут, не угодно ли, надо говорить о реализме социалистическом. Откровенно скажу, — совершенно не понимаю сочетания этих двух слов, несмотря на блестящее определение, идущее с высоты Кремля: «литература должна быть реалистической по форме, социалистической по содержанию», — вот что такое пролетарская литература! Здесь сколько слов, столько и недоумений, ибо к прежним присоединяется еще и наивное противопоставление формы и содержания. Не говоря уже о том, что «социалистический» здесь надо понимать как «марксистский», иначе и Глеб Успенский оказался бы пролетарским писателем: несомненный «реалист» и несомненный «социалист», но — народнического толка; значит — не подходят под ранжир марксистского пролетарского писателя.

Да, «социалистический реализм» нисколько не помогает определению «пролетарской литературы»; горы бумаги извели и о нем, но без всякого толка, — воз и ныне там. Мне представляется, что с этим термином надо поступить по примеру одного из героев Диккенса, рассказавшего о рецепте писания статьи на тему «Китайская метафизика»: в энциклопедическом словаре берут слова «Китай» и «метафизика», разбалтывают их вместе — и статья «китайская метафизика» готова. Возьми спорные слова — «социализм», «реализм», болтай о них вместе, и получишь «социалистический реализм, ни для кого не понятный, да и никому не нужный».

Краткий вывод: нет никакого «социалистического реализма», да заодно и никакой «пролетарской литературы». Есть просто — русская литература по ту и по ей сторону границы, одна — в счастливых условиях свободного слова, другая — на прокрустовом ложе цензуры и марксистского мировоззрения. И если эта вторая могла все же дать за тяжелые четверть века несколько неумирающих произведений, которые прочно войдут в историю русской литературы, то честь и хвала ей за это!

Но, конечно, это не смешные рассказы Зоценко, которого эмигрантский критик готов сопоставить с Гоголем. Я знаю: он сравнивает не величину талантов, а «комическое» у этих двух писателей; мог же тот же самый критик в другой статье проводить параллель между Сервантесом и... Тэффи! Но все же — сравнение обязывает, и лучше не сравнивать несравнимого.

Возвращаюсь к тому, с чего начал: я считаю, что и презрительное, и приподнятое отношение разных лагерей эмигрантской критики к советской литературе — одинаково несправедливо: она и не так ничтожна, как об этом писали критики типа Антона Крайнего, и не так замечательна, как об этом говорят критики другого лагеря. Здесь, конечно, как и во всякой оценке, многое субъективно, но все же можно попытаться наметить ряд имен и произведений, которые останутся в истории русской советской литературы, — хоть абзацем, хоть фразой, хоть упоминанием. О русской «европейской» литературе не говорю, ибо еще слишком мало ее знаю: надо еще много прочитать, чтобы иметь право сравнивать эти два русла единой русской литературы, отделенных друг от друга китайской стеной вот уже четверть века.

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

I. ПОЭЗИЯ

Что представляет собою советская художественная литература — проза, поэзия, критика, — если взглянуть на нее «с птичьего дуазо»? (по бессмертному выражению Глеба Успенского). Четверть века — срок немалый и в человеческой жизни и в жизни литературы; можно ли придти к некоторым общим выводам, если проследить течение советской литературы от ее истоков, то есть от революции 1917 года, и до того рубежа, который поставила война 1941 года? Тема эта — для большой статьи, а не маленького очерка; в последнем можно лишь наметить самые основные вехи, которые все же покажут, если и не детали, то хоть общее направление пути.

Я сразу выскажу тот общий вывод, к которому можно придти лишь в конце пути: все ценное в советской художественной литературе дано людьми старого поколения, вступившими уже в зрелом возрасте в эпоху революции. Исключения — очень незначительные — как всегда лишь подтверждают правило.

Прежде всего скинем со счетов один из трех отделов литературы — поэзия, художественная проза, критика — скинем со счетов последнюю, ибо нет критики там, где нет возможности личного мнения. Характерен эпизод с одним из литературных критиков, Корнелием Зелинским (есть такой, и сравнительно довольно грамотный), который написал критическую статью с неким твердым суждением о только что вышедшем тогда в свет романе Леонова «Скугаревский», сдал ее в редакцию журнала — и в тот же день узнал, что в высоких кремлевских кругах высказывают об этом романе диаметрально противоположное суждение.

Критик немедленно побежал в редакцию журнала, взял свою статью и через день-другой принес ее в исправленном виде: все плюсы в ней были переменены на минусы и наоборот, так что статья в новом виде пела в унисон с нотой, заданной кремлевским камертоном. Нескромность редакции журнала разгласила это событие, после которого Корнелия Зелинского стали именовать Корнелием Вазелинским. Это случай анекдотический, но в то же время типичный: критика в советской литературе превратилась в сплошное лакейство, в постоянное «чего изволите?» — и тем самым перестала существовать — ее свободно можно скинуть со счетов литературы.

Поэзию — со счетов не скинешь; в ней за последнюю четверть века появились такие произведения, которые прочно войдут в историю русской литературы, — но все они были произведениями людей отнюдь не «революционного поколения».

Начиная с изумительной поэмы «Ночной обыск» Хлебникова (изумительно и то, как могла пропустить ее цензура в пятитомном собрании сочинений этого поэта), продолжая исключительным по мастерству «Первым свиданием» Андрея Белого,

затем поэмой Владимира Гиппиуса «Лик человеческий», и кончая поэмами Клюева, стихами Есенина — все это было продолжением и завершением «золотого века» русской поэзии, начало которого совпало с началом XX-го века. Прошумел Маяковский, но и он в эпоху революции не пошел дальше сильного «Облака в штанах» и остроумной, но мелкой «Мистерии-буфф», написанной еще до периода «советской литературы». Почти совсем замолчал незадолго перед смертью ставший членом ВКП(б) Валерий Брюсов; много писал наоборот, сидя в своем Коктебеле, Максимилиан Волошин; шел своим путем не-орденоносный Борис Пастернак, и даже орденоносный Николай Тихонов продолжал поэтические традиции расстрелянного Гумилева. Совершенно умолкла по причинам цензурным Анна Ахматова, а по причинам дипломатического свойства — такой большой поэт, как Балтрушайтис (ставший послом в Москве новоявленной Литовской республики).

Но ведь все это имена, известные еще задолго до «советской литературы»; они то и дали ей те произведения, которые так или иначе (главой, абзацем, названием) войдут в историю русской литературы. Нарочно не упоминаю десятков имен второстепенных поэтов того же поколения, вроде паточного Рождественского (ставшего верным Личардой власть имущих); острого Пяста (умершего после ссылки непримиримым в 1941 году), — автора ряда ненапечатанных поэм; Павла Антокольского, талантливого эпитона — и еще многих и многих других поэтов «до-революционного» поколения.

Иные из них замолчали, иные «продали шпагу свою» (впрочем, не шпагу, а перо), иные погибли — расстрел, тюрьма, концлагерь, ссылка; но перечисление еще десятков и десятков имен «до-революционных» поэтов не прибавило бы ничего к тому основному положению, что все «историческое» в советской поэзии было сделано людьми до-советского поколения.

Действительно, какие же имена поэтов можно назвать в противовес выше названным, — кого можно перечислить, как поэтов «советского поколения»? Назвать и перечислить можно бы многих, — ведь в одной Москве было, как говорили, зарегистрировано 1.600 поэтов; но ведь мы говорим не о казенной регистрации, а о поэтах, вошедших в историю «советской литературы», или «имеющих войти» в оную. Выше я назвал — далеко не полностью — ряд имен старших и младших богатырей русской поэзии «до-советского» поколения. Да, —

То был век богатырей,
Но смешались пташки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки, —

разные Герасимовы, Александровские, Уткины, Кирсановы, Светловы и прочие, и прочие, и прочие (имена же их, Ты, Господи, веши, — хотел было прибавить я, если бы Господу Богу было хоть малейшее дело до этих имен).

Однако, если постараться припомнить, да к тому же скромно ограничиться малым, то вот три имени, о которых еще кое-что можно сказать.

Первый — Павел Васильев, поэт не без таланта, губивший себя чрезмерной поэтической многоречивостью; эпитон Клюева, он был тоже причислен к «кулацким поэтам», за что и попал на три года в Суздальский изолятор. Прав на «историю литературы» у него еще нет никаких; но горькая его участь заслуживает всяческого уважения и сожаления. Если судьба пощадит его, а он сумеет много и серьезно поработать над своим дарованием, то из него может еще выработаться хороший поэт. Но и тогда до Клюева ему, как до звезды небесной, далеко.

Второй — Сельвинский, бойкий и ловкий версификатор, поэт не без остроумия, но такой же эпитон Маяковского, как Павел Васильев — Клюева. Когда Маяковский

посмертно вошел в силу и славу, то подражателей у него оказалось — несть числа, и какой-нибудь Николай Асеев, старый «до-революционный» поэт, всегда бывший на задворках поэзии, тут вдруг нашел путь и к славе, и к ордену — хорошим политическим поведением и слепым подражанием стилю Маяковского. Сельвинский в этом отношении несколько выше: он — эпигон Маяковского, но с попытками на самостоятельность, иногда и удающимися, но не Бог весть какими интересными. Не думаю, чтобы в будущей истории русской поэзии ему было отведено больше абзаца.

Наконец — третий... Вот этот третий и есть то единственное исключение, которое, как и всегда, только подтверждает правило. Третий, а в сущности первый и единственный — Василий Казин, автор тоненькой брошюры — сборника стихов «Рабочий Май». В ней все его права на бессмертие, так как после нее он — партийный коммунист — отошел от поэзии: петь то, что в душе пелось — он не мог; петь то, что свыше приказывалось — не хотел, и предпочел совсем отойти от литературы. После этой первой и последней книжки стихов написал очень немного (поэму — «Любовь и лисья шуба») и ушел с головой в партийную работу. И это — не малая потеря для русской поэзии, так как «Рабочий Май» подавал большие надежды.

Казин — единственный глубоко даровитый «советский поэт» и даже «пролетарский поэт» (рабочий от станка): но в Пролеткульте, юношей, он прошел большую поэтическую школу у преподававшего тогда (в самом начале революции) в этом учреждении Андрея Белого... И пролетариату не обойтись без «буржуазной» преемственности!

Заканчивая этим краткий путь по вершинам «советской поэзии», повторю тот вывод, который высказал в начале: за все двадцать пять лет этой поэзии все ценное в ней дано людьми до-советского поколения, старшими и младшими богатырями предыдущей эпохи. Казалось бы — за четверть века революция могла бы взрастить свое собственное поколение поэтов, но — не взрастила, и по понятной причине: там, где слово заковано в цепи — нет места росту новых сил. Так обстоит дело с «советской поэзией»; интересно поговорить и о советской художественной литературе прозаической.

Перечел написанное выше — и не жду такого возражения: почему это, говоря о советской поэзии, я не упомянул про такого ее кита, как Демьян Бедный? Не жду потому, что к поэзии Демьян Бедный не имеет ни малейшего отношения.

II. ПРОЗА

Общая формула — «все ценное в советской художественной литературе дано людьми до-революционного поколения — вполне оправдывающая себя в отношении советской поэзии, возбуждает с первого взгляда большие сомнения, когда речь заходит о советской художественной прозе. Действительно, за четверть века — такая плеяда имен молодых талантливых беллетристов и так мало имен писателей предыдущего литературного поколения! Но, конечно, дело не в количестве, а в весе: небольшой рассказ, например, очерк Михаила Пришвина «Охота за счастьем», на весах критики и истории литературы может оказаться «томов премногих тяжелей», хотя бы, например, многотомного и вполне бездарного романа Панферова «Бруски».

Но это лишь случайный пример; вообще же надо сказать, что эта область оценок в высшей степени субъективна, а потому я нисколько не претендую на общезначимость своих суждений. Должен сказать сразу: не принадлежу ни к числу читателей, огулом отрицающих советскую литературу ибо де, что доброго из Назарета, — ни к числу читателей, склонных приподнято относиться к достижениям советских беллетристов и сравнивать Зощенко с Гоголем. Считаю, однако, что «золотой век» русской

прозы начала XX-го столетия — прошел, что десятилетие, в котором могли появиться такие «эпохальные» романы, как «Мелкий бес» Федора Сологуба и «Петербург» Андрея Белого — не повторится, что после золотого века пришел, как и следовало ожидать, серебряный (хорошо еще, если не медный), что и в области художественной прозы

... смешались шапки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Счету нет, сколько этих мошек и букашек расплодилось в советской беллетристике, — и, конечно, упоминать о них здесь не приходится. Как-то, в начале тридцатых годов меня привело в восторг заглавие одной журнальной критической статьи: «Творчество Ивана Уксусова».

Был такой «пролетарский беллетрист», написал два-три рассказа, повесть, роман и погубило имя его без шума; и в Советском Союзе никто не вспомнит теперь имени этого беллетриста, о «творчестве» которого печатались статьи. Так вот, вся массовая советская беллетристика — это сплошной коллективный Иван Уксусов, о котором говорить не приходится. Поговорим о подлинной художественной литературе.

Но и здесь, по французской поговорке, есть фаготы и фаготы. Не угодно ли обратить внимание на такой беллетристический фагот (или еще более гнусавый инструмент), как на одиннадцатое издание романа Федора Гладкова «Цемент», переведенного и на ряд европейских языков. Ведь это же типичный Иван Уксусов, средняя рядовая беллетристика, пришедшая ко двору и ко времени, но не имеющая ничего общего с литературой художественной. О таких Гладковых, как бы велики ни были их успехи, говорить тоже не буду; прибавлю только, что Федор Гладков — писатель старого поколения, печатавшийся еще до первой мировой войны, так что никак не может служить представителем «молодой советской литературы». Это же относится и к Пантелеймону Романову, роман которого «Русь» тщетно ходил по разным редакциям и издательствам задолго до революции, и процвел, как жезл Ааронов, лишь в советское время. Это все — «старика» (отнюдь не золотого века), а нас интересует поколение молодых советских талантов.

Обращаясь к ним, надо прежде всего скинуть со счетов ряд прославленных имен и произведений «пролетарских писателей»: Михаила Чумандрина, романы которого были объявлены критикой выше «Войны и мира»; Панферова, «Бруски» которого (в четырех томах!) можно было дочитать до конца лишь при большом запасе мужественного терпения; Либединского, тоже «прославленного» за повесть «Неделя», — и многих им подобных. Все это такой низкий сорт литературы, что останавливаться на нем не приходится; число же литературных имен — безмерно велико. Для меня они все объединяются в двух созвучных именах молодых советских беллетристов — Малашкине и Малышкине. Знаю, что один из них — бездарный графоман, а другой — «подающий надежды» беллетрист, но никак не могу запомнить, кто из них автор романа «Севастополь», кто из них талантлив и кто бездарен. Так вот, о бесчисленных Малашкиных и Малышкиных говорить много тоже не приходится. Знаю, что романы Михаила Слонимского — потрясающе бездарны, что романы Михаила Казакова много грамотнее, что Каверин может состряпать занимательную авантюрную повесть, — но подлинная художественная литература здесь еще и не ночевала.

Итак — мимо Малашкиных и Малышкиных: никакого литературного ущерба мы от этого не потерпим.

И еще мимо, — мимо таких авторов, которые дали то малое, что могли, и потом ушли, из литературы — либо потому, что исчерпали себя в первой книге, либо

потому, что рано ушли из жизни. Примером первого является Бабель, написавший неплохую характерную «Конармию» и исчерпавший ею весь свой талант; примером второго служит Неверов, подававший надежды своим «Ташкент, город хлебный», но рано умерший.

Небольшой абзац в будущей истории русской литературы займет, вероятно, каждый из них.

После всего этого не слишком строгого отбора (ибо при более строгом, вряд ли такие авторы, как Бабель или Неверов попадут в историю литературы) — остается быть может с десятков имен «молодых советских авторов», являющихся вершинами современной советской литературы. Я перечисляю их, чтобы никому не было обиды, в порядке алфавитном, заранее допуская, что в памяти моей могут быть и пробелы: Булгаков, Зощенко, Ильф и Петров, Леонов, Олеша, Пильняк, Фадеев, Федин, Шолохов, Эренбург.

Первые три имени характеризуют собою так называемую «советскую сатиру». Насколько это вещь опасная — показала судьба Михаила Булгакова, который, после двух довольно острых и остроумных повестей («Роковые яйца» и «Дьяволиада») был вообще изгнан из литературы и больше уж ничего не мог напечатать.

Зощенко более посчастливилось: благодаря удачно найденной (но очень не новой) форме «мещанского сказа», в большом количестве нестерпимо надоедливой, благодаря с другой стороны скромности размаха сатиры, остающейся в пределах дозволенного и даже поощряемого — Зощенко процвел и стал по распространенности одним из первых советских писателей. Попытки его вырваться из формы «мещанского сказа» кончились неудачей, и, по-видимому, Зощенко писатель уже до конца определившийся; небольшой абзац в будущей истории русской литературы, вероятно, заслужил и он.

Наконец, Ильф и Петров, авторы прошумевших «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца» — остроумных, но беззлобных гротесков — тоже в прошлом: Ильф умер, а Евгений Петров получил за него орден и благоразумно прекратил литературное творчество.

Леонид Леонов, автор многих романов и пьес — имя вполне литературное, но отнюдь не советского происхождения. Его давнишний «Петушихинский пролом» показал в нем хорошего подмастерья школы Алексея Ремизова; в позднейших романах он набил себе руку, усвоил советскую тематику и выдвинулся в первые ряды советской литературы. В главу об этой литературе он, конечно, попадет, но отдельной главы собою не составит. Это же можно сказать и о Юрии Олеше с его хорошо скомпонованной «Завистью»; но в то время, как Леонов печет роман за романом и пьесу за пьесой — Олеша далеко не так продуктивен. Надо прибавить к стати, что и он не принадлежит к поколению «советской молодежи», будучи, как и Леонов, далеко более чем среднего возраста.

Борис Пильняк стоит особняком, как по своим писаниям, так и по своей судьбе. Расхлябанный стиль, в котором он пробовал подражать Андрею Белому (недаром кто-то сострил, что Пильняк пишет черным по Белому), попытка стать советским экспрессионистом, многописание, неумение отделять написанное — все это делало его эпигоном, не имеющим сил подняться до уровня мастера.

Горькая его судьба (расстрел или десять лет изолятора — до сих пор неизвестно) будет помянута в синодике русских писателей, но ведь это не повышает его художественного уровня. Мы скорбим об участи Полежаева, что не мешает ему занимать вполне второстепенное место на русском Парнасе. Разница еще в том, что Полежаев был погублен в самом начале своего жизненного и литературного пути, а Пильняк — был автором доброго десятка романов, вполне определивших его литературную физиономию и удельный вес (не очень большой).

Спешно прохожу мимо Фадеева, «Последний из Удэге» которого был бы не плохим романом, если бы автор не следовал рабски всем приемам письма, взятым им напрокат у Льва Толстого. Константин Федин — хороший, четкий писатель, первый роман которого «Города и годы» является в то же время и лучшим его романом. Наконец, — если пропустить Шолохова, — Эренбург: об этом писателе можно сказать, что у него сколько романов, столько и физиономий: своего лица у него совсем нет, он всегда кому-нибудь подражает.

В романе «Хулио Хуренито» он рабски следует по стопам Анатоля Франса; в «Жанне Ней» — пытается подражать традициям романов Диккенса; «Жизнь и смерть Николая Курбова» — неудачное и неумелое подражание ритмической прозе романов Андрея Белого. Не писатель, а подражатель; место таким в лучшем случае — на задворках истории литературы.

Остается Шолохов, автор хорошего романа «Тихий Дон» и плохой «Поднятой целины». Я очень уважаю автора-коммуниста за то, что он в конце романа отказался от мысли (предписывавшейся ему из Кремля) сделать своего героя, Григория Мелехова, благоденствующим председателем колхоза, а предпочел погубить его нераскаянным. Но не в этой частности дело, а в том, что «Тихий Дон» представляет собою наклонную плоскость с вершиной в первом томе; дальше от тома к тому письмо слабеет, образы повторяются и выветриваются, интерес падает. У Шолохова много поклонников, считающих его вершиной советской литературы; может быть оно и так, но не в обиду им будь сказано — сорок лет тому назад выходили сборники «Знания», в которых вполне мог быть напечатан и «Тихий Дон».

Печатался там Кондурушкин — кто его теперь помнит? На те же «казачьи темы» писал свои очерки Федор Крюков, и писал совсем не плохо, — боюсь, что теперь никто не вспомнит и его имени. И если Шолохов подлинно «вершина советской литературы», то надо сказать, что вершина эта далеко не Эльбрус и не Монблан, а гора значительно более скромной высоты.

Этим я сегодня и кончу, так как разговор о подлинных вершинах «советской литературы» за минувшую четверть века — разговор особый и длинный. Скажу только, что он вполне подтвердит общее положение о том, что все ценное в советской художественной литературе дано писателями старого поколения. Такие романы, как «Москва» и «Маски» Андрея Белого, как «Кащеева цепь» Михаила Пришвина — являются вершинами не только русской, но и европейской литературы. И «пролетарский граф» Алексей Толстой со своим «Петром Первым», и Сергеев-Ценский, и Новиков-Прибой со своей «Цусимой» — все это писатели старого поколения и в то же время вершины советской литературы, на много превышающие тот десяток сравнительно молодых имен, который был назван выше. Но об этом как-нибудь до другого раза.